

**ВЕСТНИК**  
**Литературного института**  
**имени А.М. Горького**

**№ 4**

---

**2014**

Москва  
Литературный институт  
им. А. М. Горького  
2014

## ВЕСТНИК ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Председатель редакционного совета — Ужанков А. Н., д. фил. н., проф. (Москва)

Члены редакционного совета:

Аношкина В. Н., д. фил. н., проф., заслуженный деятель науки РФ (Москва)

Валуччи Валерия, д. фил. н., проф. (Италия)

Видмарович Н. П., д. фил. н., проф. (Хорватия)

Гребенюк В. П., д. фил. н., проф. (Москва)

Громов М. Н., д. ф. н., проф. (Москва)

Захаров В. Н., д. фил. н., проф. (Москва)

Иванова М. В., д. фил. н., проф. (Москва)

Кохран Питер, д. фил. н., проф. (Великобритания)

Лепехин В. В., д. фил. н., проф. (Венгрия)

Маслин М. А., д. ф. н., проф. (Москва)

Моторин А. В., д. фил. н., проф. (Великий Новгород)

Соловьева Н. А., д. фил. н., проф. (Москва)

Чагин А. И., д. фил. н., проф. (Москва)

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Тарасов Б. Н., д. фил. н., проф., заслуженный деятель науки РФ (Москва).

Заместитель главного редактора — Камчатнов А. М., д. фил. н., проф.

Члены редакционной коллегии:

Болычев И. И., к. фил. н., доцент

Васильев С. А., д. фил. н., проф.

Григорьев А. В., д. фил. н., проф.

Гусев В. И., д. фил. н., проф.

Есаулов И. А., д. фил. н., проф.

Есин С. Н., д. фил. н., проф.

Зимин А. И., д. ф. н., проф.

Казнина О. А., д. фил. н., проф.

Леонов Б. А., д. фил. н., проф.

Михальская А. К., д. п. н., проф.

Шишкова И. А., д. фил. н., проф.

Ответственный редактор — Юрчик Е. Э.

Редактор — Лисковая О. П.

Корректор — Пинчук М. В.

## VESTNIK OF GORKY LITERARY INSTITUTE

### EDITORIAL COUNCIL:

Chairman — Uzhankov A. N., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

Members of the Council:

Anoshkina V. N., Ph. D. (Philology), professor, Honoured Researcher of Russia (Moscow)

Cohran Peter, Ph. D., professor (Great Britain)

Chagin A. I., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

Grebenyuk V. P., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

Gromov M. N., Ph. D. (Philosophy), professor (Moscow)

Ivanova M. V., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

Lepakhin V. V., Ph. D., professor (Hungary)

Maslin M. A., Ph. D. (Philosophy), professor (Moscow)

Motorin A. V., Ph. D. (Philology), professor (Novgorod)

Solovyova N. A., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

Valucci Valeria, Ph. D., professor (Italy)

Vidmarovic N. P., Ph. D. (Philology), professor (Croatia)

Zakharov V. N., Ph. D. (Philology), professor (Moscow)

### EDITORIAL BOARD:

Chief Editor — Tarasov B. N., Ph. D. (Philology), professor, Honoured Researcher of Russia (Moscow)

Deputy Chief Editor — Kamchatnov A. M., Ph. D. (Philology), professor

Members of the Board:

Bolychev I. I., Candidate of Philology, associate professor

Grigoriev A. V., Ph. D. (Philology), professor

Gusev V. I., Ph. D. (Philology), professor

Kaznina O. A., Ph. D. (Philology), professor

Leonov B. A., Ph. D. (Philology), professor

Mikhalskaya A. K., Ph. D. (Pedagogy), professor

Shishkova I. A., Ph. D. (Philology), professor

Vasylyev S. A., Ph. D. (Philology), professor

Yesaulov I. A., Ph. D. (Philology), professor

Yesin S. N., Ph. D. (Philology), professor

Zimin A. I., Ph. D. (Philosophy), professor

Managing editor — Yurchik E. E.

Editor — Liskovaya O. P.

Proofreader — Pinchuk M. V.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИНГВИСТИКА

- Власов С. В., Демидов Д. Г.* Что могут сказать современные лингвисты о времени создания «Слова о полку Игореве»? (Критические заметки по поводу книги А. А. Зализняка «“Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста») . . . . . 6
- Камчатнов А. М.* Соблазн. (Историко-семасиологический этюд) . . . . . 38

### ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Тарасов Б. Н.* Книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году» и В. Тиссо «Россия и русские: путевые впечатления» в контексте мифов и стереотипов о русской истории и культуре . . . . . 47
- Казнина О. А.* Конфликт «я» и «мы» в творчестве Е. И. Замятина и В. В. Набокова . . . . . 59
- Шапиро А. Л.* «Память, говори». Образы минувшего в контексте творческого метода писателя . . . . . 73
- Парфенов А. И.* Фантастика и рок в прозе А. П. Чехова (на материале повести «Три года» и рассказа «Убийство») . . . . . 86

### ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

- Солодкова О. Л.* Положение религиозных меньшинств в Индии на примере христиан-далитов . . . . . 94

### ХРОНИКА

- Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (21–22 октября 2014 г.) . . . . . 106

### РЕЦЕНЗИИ

- Волосюк О. В.* Рецензия на: Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации/ Под ред. Л. С. Белоусова, А. С. Манькина. М.: Издательство Московского университета, 2014. . . . . 114

### НАШИ АВТОРЫ . . . . . 122

### SUMMARIES . . . . . 123

## CONTENTS

### LINGUISTICS

- Sergey V. Vlasov, Dmitrij G. Demidov* What can modern linguists say about the date of creation of “*The Song of Igor*”? (Critical notes on the book by A. A. Zalizniak “*The Song of Igor*”: a linguist’s view”) . . . . . 6
- Alexander M. Kamchatnov* Temptation: a historical semasiological study . . . . . 38

### THEORY AND HISTORY OF LITERATURE

- Boris N. Tarasov* Alfred de Custine’s “*Russia in 1839*” and Victor Tissot’s “*Russia and the Russians: travel impressions*” in the context of myths and stereotypes about Russian history and culture . . . . . 47
- Olga A. Kaznina* I and we conflict in E. Zamiatin and V. Nabokov’s writing . . . 59
- Alexandra L. Shapiro.* V. Nabokov’s «*Speak, Memory*»: images of the past as part of the writer’s creative method . . . . . 73
- Alexander I. Parfenov* Fantasy and destiny in prose of A. Chekhov («*Three years*» and «*The Murder*») . . . . . 86

### SOCIAL SCIENCE

- Olga L. Solodkova* The status of religious minorities in India (the case of Christian Dalits) . . . . . 94

### CHRONICLE

- Michail Lermontov 200<sup>th</sup> anniversary conference (21–22th October 2014) . . . 106

### BOOK REVIEWS

- Olga V. Volosyuk* *The First World War and the destiny of European civilization*/ Ed. Lev S. Belousov, Alexander Manykin. Moscow, Moscow University Publishing House, 2014 . . . . . 114

- AUTHORS . . . . . 122

- SUMMARIES . . . . . 123

**С. В. ВЛАСОВ, Д. Г. ДЕМИДОВ**

**ЧТО МОГУТ СКАЗАТЬ  
СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТЫ О ВРЕМЕНИ  
СОЗДАНИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»?  
(Критические заметки по поводу книги  
А. А. Зализняка «Слово о полку Игореве»:  
взгляд лингвиста)»**

Авторы статьи критикуют концепцию А. А. Зализняка относительно датировки и авторства «Слова о полку Игореве». Методы датировки недатированных рукописей, использованные А. А. Зализняком, по их мнению, нельзя признать релевантными. Авторы настаивают, что необходимы также качественный функционально-семантический анализ, семантическая (а не только формальная) классификация примеров, иллюстрирующих воплощение скрытых «глубинных сущностей» в текстах. Разбираются вопросы постановки энклитики *ся*, а также видообразования и мнимых имперфектов совершенного вида в тексте «Слова». Авторы анализируют выводы сторонников позднего происхождения «Слова о полку Игореве» и приходят к выводу, что признать «ошибочными», вслед за А. А. Зализняком, все аргументы этих ученых никак невозможно. Эти аргументы необходимо дорабатывать, но сама эта доработка не способствует их безусловному и безоговорочному опровержению.

**Ключевые слова:** «Слово о полку Игореве», оригинал, копии, реконструкция, методы датировки недатированных рукописей, автор текста, аномалии, функционально-семантический анализ, позиция энклитики *ся*, глагольные виды, А. Зализняк, Р. Айцетмюллер, М. Мозер, К. Трост, М. Хендлер.

**ЧАСТЬ I. О МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКЕ ДАТИРОВКИ  
НЕДАТИРОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ**

Вышедшая в свет третьим изданием в 2008 г. книга акад. А. А. Зализняка «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста» [Зализняк-1]<sup>1</sup> оживляет интерес к замечательному памятнику русской литературы и признает вопрос

---

<sup>1</sup> Заметим, что само название издательства уже предполагает существование древней рукописи «Слова о полку Игореве», внушая читателю мысль о достоверности гипотезы древнего, а не позднего происхождения текста «Слова».

о времени происхождения текста «Слова о полку Игореве»<sup>1</sup> открытым. В отличие от книги А. А. Зализняка, многие работы о «Слове» исходят из неверной посылки, будто время создания памятника уже известно<sup>2</sup>. Ценные частные наблюдения в области грамматики, лексики, стилистики, поэтики произвольно объявляются уникальными для нашего средневековья, известными только в XII в. и только в «Слове» и неизвестными в более поздних памятниках письменности. Казалось бы, «взгляд лингвиста» побуждает читателя не просто бездумно согласиться с положением, согласно которому произведение появилось в конце XII в., а продолжить движение к полному и исчерпывающему исследованию «Слова», в результате которого стали бы ясными и критически оцененными также и **все возможные** аргументы в пользу составления памятника как **цельного** произведения в конце XVIII в. Однако, вопреки ожиданиям, автор подчеркивает: «Эта книга — не описание языка СПИ как таковое. Ее единственная задача состоит в том, чтобы изучить проблему подлинности или поддельности СПИ» [Зализняк, 2008, с. 5–6]. Нам не очень понятно, как можно изучать проблему подлинности или поддельности «Слова» без всестороннего обследования языка памятника, а тем более на основе сугубо статистического описания языка памятника по заданным, т. е. фактически заранее отобраным в пользу определенной версии, формальным параметрам.

Именно из-за отбора только формальных показателей древности для решения вопроса о подлинности «Слова» сборник статей А. А. Зализняка производит противоречивое впечатление. С одной стороны, декларируется намерение «рассматривать любые факты сразу с двух противоположных точек зрения», отказавшись «от любых интуитивных и эмоциональных оценок и от риторического напора» [Зализняк-1, с. 30]. С другой стороны, автор использует порой тот самый нежелательный «риторический напор», против которого предостерегал вначале, подчеркивая, исходя исключительно из формальных параметров, малую степень вероятности противоположной точки зрения о написании «Слова» в конце XVIII века и представляя свои выводы о происхождении СоПИ, не учитывающие план содержания и функциональную значимость языковых единиц текста, очевидными доказательствами написания «Слова» в XII веке.

В отличие от исследования М. Н. Петерсона [Петерсон, 1937], дававшего при изучении синтаксиса «Слова» временную перспективу развития русского языка вплоть до XX в., в работе А. А. Зализняка при рассмотрении версии создания «Слова» в XVIII в. не приводится никаких данных об употреблении архаических и новых языковых форм даже в самом русском языке XVIII века. В результате критика версии создания «Слова» в XVIII в. сводится к общим декларативным утверждениям, что Аноним не мог обладать соответствующими лингвистическими знаниями, чтобы написать древнерусский текст «Слова». К этим утверждениям присоединяются рассуждения о психологии

<sup>1</sup> В дальнейшем — «Слово» или «СоПИ», в цитатах из книги А. А. Зализняка сохраняется вариант «СПИ».

<sup>2</sup> См., например, из последних работ, предисловие к книге [Олядыкова, Бурыкин, 2012], в котором сказано: «Следует здесь, видимо, прямо и откровенно сказать о том, что как для самого Н. А. Мещерского, так и для его учеников вопрос о подлинности «Слова о полку Игореве» не обсуждается и не существует» [Там же, с. 4].

гения, который непременно должен был бы поведать миру о своих достижениях и открытиях, о которых он почему-то умолчал. Не будем обсуждать, вслед за автором книги, предположения о причинах молчания Анонима<sup>1</sup> или о способностях к лингвистическому анализу образованных русских людей XVIII в., отметим только, что для серьезной научной критики этих общих деклараций явно недостаточно.

Для удобства обоснования версии написания текста на древнерусском языке в XII в., в первой статье сборника высказывается предположение, что сам текст памятника, датируемого его первыми публикаторами исходом XII в., был переписан в XV–XVI вв. и содержит в себе немало черт языка не XII, а XV–XVI вв. Здесь уже выстраивается два уровня предположений, значительно усложняющих аргументацию автора. При этом к признакам языка XV–XVI вв. относятся не только специфические особенности именно того периода, но и другие языковые явления, свойственные также последующим векам развития русского литературного языка вплоть до конца XVIII века, особенно если учитывать высокую культуру владения церковно-славянским языком в то время.

В результате доказательная база, несмотря на наличие разного рода математических подсчетов и выкладок, трудно соотносимых с конкретными фактами<sup>2</sup> по-разному оцениваемой древнерусской грамматики (это лишает читателя возможности проверки приводимых цифр), теряет необходимую научную строгость и убедительность, поскольку всегда можно имеющиеся в тексте ошибки (а их немало) приписать не древнему автору, а предполагаемым переписчикам позднейшего времени. Не экономнее ли было бы предположить, что «Слово» является написанным «старыми словесы» литературным памятником или XV в. [Евгений, 1839, с. 18; Бобров-1], или XVI в. [Виноградов, 1964], вместо того чтобы заниматься реконструкцией правильных форм никому неведомого оригинала XII века? Оказывается, нет: «Для более раннего времени (XV–XVII вв.) фигура фальсификатора<sup>3</sup> и в самом деле выглядит очень неправдоподобно» [Зализняк-1, с. 11]. Значит, все-таки, как это ни парадоксально, фигура фальсификатора (стилизатора) в XVIII в. и в самом

<sup>1</sup> Таких причин могло быть немало — преждевременная кончина поэта-эрудита еще до публикации его архаизированного шедевра, клятва, законы чести — да мало ли может быть причин, о которых мы даже не догадываемся? Наиболее вероятная причина молчания состоит в том, что над текстом «Слова» работал не один, а несколько человек. В то время не было еще разделения на «автора идеи», «сценариста», «редактора» и т. п. Смеем предположить, что, в современных терминах, «автором идеи» была сама Екатерина Великая (см. ниже).

<sup>2</sup> На этот недостаток математических подсчетов, не подкрепленных исследуемым материалом, обратил внимание еще Ж. Брейар в своей рецензии на книгу А. А. Зализняка: “On notera qu’aussi bien K. Trost que A. Z. se contentent paresseusement de brandir des pourcentages sans les rapporter aux effectifs observés, ce qui leur ôte toute signification. Voilà une vérité première que devraient méditer tous les linguistes amateurs de statistiques” («Заметим, что как К. Трост, так и А. З. [=Зализняк] лениво довольствуются размахиванием процентами, не связывая их с исследуемыми фактами, что лишает эти проценты всякого значения. Вот основополагающая истина, над которой следовало бы задуматься лингвистам, любителям всякого рода статистик»). [Breillard, 2006, p. 291].

<sup>3</sup> Одно и то же предполагаемое лицо называется в книге Анонимом, фальсификатором, стилизатором, мистификатором.

деле выглядит более правдоподобно, чем в XV–XVI вв., времени предполагаемого создания утраченной рукописи «Слова»? И понятно почему: помимо отсутствия мотивов написания такой стилизации под старину, в случае создания текста в XV–XVI вв. пропадает возможность списать гетерогенность многочисленных языковых параметров текста и многочисленные ошибки в нем на переписчиков гипотетических списков разного времени и из разных мест, и тем самым сразу может выявиться «подделка» (или стилизация) под старину еще более позднего времени<sup>1</sup>.

По мнению А. А. Зализняка, «капитальный факт, не оспариваемый никем, состоит в том, что язык СПИ намного архаичнее языка Задонщины» [Зализняк-1, с. 8–9]. Следует, однако, заметить, что это не совсем так. Есть всё же такие авторы, которые оспаривают этот «капитальный факт». Его оспаривал, делая некоторые частные ошибки, проф. А. А. Зимин, оспаривают митр. Евгений Болховитинов, акад. И. И. Давыдов, проф. К. Трост, проф. М. Хендлер и многие другие. Да и в саму обсуждаемую книгу закралось противоречие, состоящее в том, что, по признанию автора, «в рамках версии первичности СПИ мы не касаемся вопроса о том, к какому времени внутри хронологического интервала между походом 1185 г. и созданием Задонщины его предпочтительно относить» [Зализняк-1, с. 10]. Выходит, что и сам автор не вполне убежден в своих доказательствах датировки памятника XII в., если версия подлинности «Слова» не очень страдает оттого, действительно ли в XII в. или XV–XVI вв. написан текст памятника, хотя далее автор и занимает более четкую позицию.

Как полагает А. А. Зализняк, «если СПИ создано позднее Задонщины, то автор писал не на языке своего времени, а имитировал древний язык» [Зализняк-1, с. 9]. Тезис об имитации древнерусского языка в XVIII в., не говоря уже о церковно-славянском языке, которым владели (а не только «имитировали» его!) многие просвещенные русские люди, не совсем точен: на древнерусском языке писал еще свою первую редакцию «Истории российской» В. Н. Татищев [Татищев, 1962–1968]. Татищев предпочитает сохранять не только лексические, но и грамматические историзмы, то есть практически создает новую летопись.

Это был ОБЩИЙ язык, который сам не требовал перевода с точки зрения многих образованных носителей русского языка<sup>2</sup>. Без перевода в XVIII в. был издан целый ряд произведений на древнерусском языке. Культуру «перевода» с древнерусского на современный русский, т. е. лингвистический раскол в сознании, стали насаждать карамзинисты, представители «нового слога». Заметим, что лексикографическая практика Словаря Академии Российской и Словаря 1847 г., изданного II-м Отд. Академии наук, была панхронической: церковнославянские и древнерусские слова объединялись с современными русскими.

Особого рассмотрения требует методологическая база книги. По всей видимости, в соответствии с принципами формальной школы за пределами

<sup>1</sup> Особо отметим, что версию поддельности «Слова» мы категорически отклоняем, а версию имитации (стилизации) трактуем как научно-художественную реконструкцию.

<sup>2</sup> Среди них самые яркие представители — шишковисты.

внимания лингвистики оказываются не только вопросы исторической стилистики, но и вопросы семантики лексических и морфологических единиц. По сути, в книге отрицается системный характер лексики [Зализняк-1, с. 33], хотя в отдельных случаях признается системный характер словообразования, правда, без различения действительно существовавших в других памятниках и отсутствовавших в них слов, например слова *русичи* [Зализняк-1, с. 212–217]<sup>1</sup>.

Из четырех выделяемых В. К. Журавлевым подходов к языку (синхрония, диахрония, полихрония, панхрония), в книге выбирается полихронический подход, предполагающий сопоставление нескольких синхронных состояний языка<sup>2</sup>. Границы применимости такого подхода показаны в трудах Е. Косериу, Л. Вайсгербера, В. В. Колесова. Методическое преимущество полихронии состоит в том, что к любому синхронному срезу можно полностью применить все методы и методики синхронного описания. Методологический недостаток полихронии в том, что отсутствует какое бы то ни было представление о движущих силах и направлении развития языка, об относительной структурно-исторической ценности словоформы, слова, парадигмы, категории. Объяснительная сила такого подхода не выше, чем подхода синхронического; признак причинности, по Журавлеву, вообще не учитывается. Полихрония была характерна для ранних этапов сравнительно-исторического языкознания, когда сравнивались индоевропейский, балто-славянский, славянский «синхронные срезы». Полихронический подход, последовательно и строго проведенный в книге, действительно, дает предположительный ответ на вопрос о времени происхождения СоПИ в пользу того же времени (синхронного среза), с которым совпадает большинство схем, по которым образованы формы слов, то есть в пользу XII века. Но та же книга, предполагая и другие подходы, оставляет окончательное решение вопроса о времени сочинения «Слова» принципиально открытым.

Из всех рассуждений А. А. Зализняка следует один очень важный урок: если исследовать текст, пренебрегая его поэтикой, ритмикой, семантикой и прочими «нелингвистическими» или просто несистемными характеристиками, то, в конце концов, при своеобразно понятой лингвистике, можно прийти к заключению, что это текст, возникший в XII веке. Но при этом всегда нужно быть готовым к опровержению этого заключения под давлением

<sup>1</sup> «Гипотеза» отсутствия слова *русичь* в древнерусском языке не является гипотезой. Это, при сегодняшнем состоянии русской исторической лексикологии, научный факт. Факт произвольно называется гипотезой, да еще и слабой. Приходится рассматривать такой прием не иначе как эристическую уловку. Эффект от нее только внешний. По существу дела этот серьезный лексический аргумент остался непровергнутым. Б. Унбегаун мотивированно отклоняет реконструкцию *\*русичи* — *руситинь* (где -ич- из \*it-j) по модели *кривичи* — *кривитинь*, *костромичи* — *костромитинь*. Собирательный этноним *русь* был достаточен, и необходимости в производстве другого собирательного Pl. t. *\*русичи* не возникало. Переосмысление этнонимов на -ичи как мн. ч. от конкретных началось не ранее XVII в. Характерно заключение заметки: «Je suis le premier à regretter de n'apporter, à défaut d'une explication, que l'indication d'une difficulté nouvelle. Mais tel est ce texte: plus on le serre de près, plus il apparaît obscur» («Я первым сожалею, что, за неимением объяснения, только указываю на новую трудность. Но таков этот текст: чем более пристально его рассматриваешь, тем более темным он выглядит») [Unbegaun, 1938, с. 80].

<sup>2</sup> См. [Журавлев, с. 17].

более полного языковедческого исследования текста и аргументов других филологических дисциплин. И такую возможность автор книги полностью не исключает. Это принципиально отличает обсуждаемую книгу от сборника 1962 г. «Слово о полку Игореве» — памятник XII века.

Корректная методика анализа ошибок (и, шире, разного рода аномалий) в реконструируемом древнем тексте XII в. в случае, когда неизвестно время создания рукописи, написанной, предположительно, то ли 1) в конце XVIII в. (время обнаружения и публикации памятника), то ли 2) в XII в. и переписанной в XV–XVI вв., подразумевает не просто поиск в тексте черт языка XII в. (а тем более их реконструкцию путем исправления ошибок!), а доказательство того, что выделяемые в тексте черты языка XII в. не только действительно соответствуют обычному (а не аномальному) их употреблению в соответствующих текстах XII в.<sup>1</sup>, но еще и доказательство того, что эти черты никак не могли быть изменены (подновлены) при переписке текста в XV–XVI вв. Иначе все, что невозможно отнести к XII в., легко объясняется ошибками гипотетических переписчиков позднейшего времени, вплоть до конца XVIII в. (см. выше). Ведь под ошибками переписчиков могут скрываться и ошибки Анонима. Другими словами, для решения вопроса о позднем или древнем происхождении «Слова» релевантны лишь наличие или отсутствие тех языковых аномалий, которые невозможно приписать поздним переписчикам и которые могут принадлежать только автору текста. Если в языке предполагаемого автора имеются языковые аномалии (или просто ошибки), идущие вразрез с языковыми нормами древнерусских текстов как XII в., так и XV–XVI вв., а тем более, если имеется скопление разного рода аномалий в пределах небольшого текста, то весьма вероятно предположить, что это особенности языка автора XVIII века, не до конца справившегося с задачей реконструкции древнего текста (а не просто древнего языка!).

При строгом анализе разного рода аномалий в тексте не должны также учитываться как аргументы в пользу древнего происхождения «Слова» предположения о тех языковых явлениях и фактах (о разного рода гапаксах и неологизмах), которые могли быть, а могли и не быть в языке XII в., если эти языковые факты не подтверждены документально в рукописях, достоверно датированных XII веком. Даже если какое-то слово или грамматическая форма и встречаются в других текстах, но при этом являются чрезвычайно редкими для XII в. или, наоборот, характерными для более позднего времени, подобные слова и формы свидетельствуют скорее об аномальности их употребления в архаизированном языке СоПИ и вовсе необязательно связаны с древностью самого текста.

Для достоверности анализа языкового материала недостаточно привести только количественные данные, иллюстрирующие процентное соотношение тех или иных формально-грамматических явлений в древних текстах. Требуется также произвести качественный функциональный и семантический анализ, дать семантическую (а не только формальную) классификацию примеров, иллюстрирующих воплощение скрытых «глубинных сущностей» в текстах. Как признает сам А. А. Зализняк (правда, только по поводу статистических данных, приводимых его оппонентами), «неграмотно построенная статистика

<sup>1</sup> Обычно стилизаторы и мистификаторы обращают внимание в первую очередь на языковые аномалии как более легкие для воспроизведения.

не доказывает ровно ничего; ее единственная польза — впечатление научной солидности, которое она производит на поверхностного читателя» [Зализняк-1, с. 316]. Количественные совпадения показывают лишь возможность совпадения эпохи, но не обязательность подобного совпадения.

Поясним нашу мысль двумя небольшими, но весьма характерными контекстами из «Слова», аномальные лексические особенности<sup>1</sup> которых нельзя объяснить ошибками переписчика.

Необычное выражение *Даж(д)ьбожий (Дажьбожь) внук* для обозначения то ли одного из русских князей<sup>2</sup>, то ли всего русского народа<sup>3</sup> и сопоставимое с ним другое выражение из «Слова» *Велесов внук* для обозначения *песнотворца* Бояна совершенно экзотичны для русского языка старшей поры<sup>4</sup>, но они вполне вписываются в контекст риторических перифраз XVIII в., вроде *внук (сын) Аполлона*<sup>5</sup> или *Дельфійска Бога внукъ* для обозначения поэта, или *Солнцев сын* для обозначения турецкого султана в одах В. П. Петрова, «карманного стихотворца» Екатерины II и протее Г. А. Потемкина, подарившего своему другу дом в Москве. Так, в «Письме» В. П. Петрова к Екатерине II 1786 г. читаем такие выразительные строки: «Смиренью учать свѣтъ бодливые козлы; // *Слухобаянники*<sup>6</sup>, въ прекрасномъ тѣлѣ бѣси, // Умонеистовцы, презрѣнной полны спѣси!» [...] «О ты Сивилль родня, *Дельфійска Бога внукъ*, // Надутый мерзостнымъ киченіемъ паукъ!» [Петров, 1811, ч. 3, с. 154]. В этих строках стихотворного послания В. П. Петрова видна переключка с Бояном, Велесовым внуком «Слова о полку Игореве». Ср. пассаж о турках в оде В. П. Петрова «На взятие Хотина 1769 года»: «Смѣшившись съ кровью понть густѣть // И вержетъ на брега Срацынь: // Стамбуль отъ страха цѣпенѣть, // Ярится въ злобѣ *Солнцевъ сынъ*» [Петров, 1811, ч. I, с. 42]. Помимо известного контекста, в котором перечисляются наименования идолов, собранных князем Владимиром, ср. также этот пассаж из оды В. Петрова с описанием пантеона египетских богов в Ипатьевской летописи, которое было заимствовано из Хроники Малалы: «Сего ради прозваша и Сварогомъ . и блжіша и Егуптане . и по семь црѣтвова Е *снѣ его именемъ Слнѣ егоже наричють . Дажьбѣ* семь тысащъ и ѹи семьдесятъ днѣи іако быти лѣтома . двемадесатьмати по лунѣ видаху бо Егуптане . инии чисти шви по лунѣ чтаху . а друзии А . днѣми лѣт чтаху . двою бо на десять мѣцю число потомъ оувѣдаша . ѿнележе . начаша

<sup>1</sup> Некоторые примеры на грамматическую семантику мы рассмотрим по ходу дальнейшего обзора обсуждаемой книги.

<sup>2</sup> «Въстала обида въ силахъ *Дажьбожа внука*. Вступилъ дѣвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣм море у Дону плещучи, убуди жирня времена») (с. 260 — здесь и далее текст архетипного вида первого издания 1800 г. «Слова о полку Игореве» цитируется по книге: [Дмитриев, 1960, с. 257–266]).

<sup>3</sup> «Тогда при Ользѣ Гориславовичи сѣяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь *Дажь-Божа внука*, въ Княжихъ крамолахъ вѣци чловѣкомъ скратишась» [Дмитриев, с. 260].

<sup>4</sup> См. обзор различных предположений сторонников древности «Слова» о значении данных перифраз (заметим, предположений, не подкрепленных соответствующими примерами из древнерусской литературы) в статьях Л. В. Соколовой «Велес» и «Дажьбог (Дажьбог)» в «Энциклопедии «Слова о полку Игореве» [Энциклопедия, т. 1, с. 185–187; т. 2, с. 79–82].

<sup>5</sup> Ср. [Mazon, с. 184].

<sup>6</sup> Здесь и далее в иллюстративных цитатах курсив наш — С. В., Д. Д.

члѣвци дань давати црѣмъ Слнце црѣ снѣ Свароговъ . еже есть Дажьбѣ бѣ бо мужь силенъ»<sup>1</sup> (Ип. л., л. 104об. ).

Не все комментаторы полагали, что в «Слове» под «Дажьбожим внуком» имеется в виду русский народ, как считает большинство исследователей, исходящих из сопоставления соответствующего места «Слова» с припиской к Псковскому Апостолу 1307 г. ; согласно примечаниям к современному русскому «переложению» «Слова» в бумагах Екатерины II, под «Дажьбожим внуком» имеются в виду половцы: «Дажбогъ былъ Кумирь Княземъ Владиміромъ въ Кіевѣ съ прочими Идолами поставленный. Но почему сочинитель Половцовъ именуеть внуками Дажбожевыми, точно сказать сего не можно» [Дмитриев, 1960, с. 331].

Другой контекст<sup>2</sup>, в котором упоминается Даждь-Божь (а не Дажьбожь, как в первом примере) внук, как будто бы позволяет идентифицировать этого весьма странного персонажа с русским народом. К. Ф. Калайдович увидел подтверждение подлинности «Слова» в обнаруженной им приписке к Псковскому Апостолу 1307 г., цитирующей с соответствующими изменениями, как он полагал, текст «Слова»: «При сихъ князѣхъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, въ князѣхъ которы и вѣци скоротишася человѣкомъ»<sup>3</sup>.

В этом отношении показательна странная реакция А. И. Мусин-Пушкина на находку К. Ф. Калайдовича: «... о надписѣ [так!], найденной вами в Апостоѣ, замѣчаніе ваше нахожу весьма справедливымъ. Предлагаемое вами свидѣтельство о подлинности Игоревой пѣсни, почитаю излишнимъ. Прошу оное оставить. На вопросы ваши здѣлалъ я отвѣты, щитая оныя отъ васъ здѣланными изъ единого любопытства, а потому прошу оставить отвѣты между нами [...]» [Мусин-Пушкин, 1814, ф. 588, №278, л. 5 об. ]. Казалось бы, граф Мусин-Пушкин должен был приветствовать находку молодого ученого, но граф просит Калайдовича никому не говорить о находке, как и о других своих ответах на заданные ему вопросы, словно опасаясь разоблачения в подделке древнего памятника и приглашая Калайдовича хранить ответы в тайне, т. е. стараясь привлечь ученого на свою сторону, — типично «масонский» (сектантский) прием рекрутирования единомышленников.

Амбивалентность и неясность номинации русского народа *Дажьбожими внуками* находит соответствия в пиндарическом стиле од В. П. Петрова с его любовью к темным местам, по-восточному изощренным образам, а также к редким словам и выражениям и совершенно не соответствует стилю «Слов» в древнерусской литературе<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Поэтому называли его Сварогом, и ублажали его египтяне. И потом царствовал 5-й сын его по имени Солнце, которого называют Дажьбогом. Семь тысяч и 400 и семьдесят дней, исходя из того, что египтяне исчисляли года по двенадцать лун, другие же считали (года) по луне, а третьи считали по первым дням лет, а потом установили число месяцев двенадцать. С того времени начали люди дань давать царям. Солнце-царь — сын Сварогов, то есть Дажьбог, потому что был он мужем сильным».

<sup>2</sup> См. выше примеч. 11.

<sup>3</sup> Цит. по [Якубинский, 1953, с. 323]. Там же показано, что «текст записи [в Псковском Апостоле 1307 г. — С. В., Д. Д.] дает несколько более архаичные формы, чем текст «Слова».

[Там же, с. 324].

<sup>4</sup> Подробнее о параллелях между военными образами в «Слове» и в поэзии В. П. Петрова см. в статье: [Власов, 2014].

Не случайно еще французский славист Л. Леже сделал в своей «Славянской мифологии» следующее примечание, отсутствующее в русском переводе этой книги: «Даждьбог фигурирует также в "Песни о полку Игореве", в которой русский народ называется Даждьбожим внуком. Подобное обозначение мне кажется невозможным под пером христианина. Этот эпитет мне кажется страшным аргументом против подлинности, если не всего этого сочинения, то по крайней мере некоторых его фрагментов» (перевод наш. — С. В. и Д. Д.)<sup>1</sup>.

## ЧАСТЬ 2. ОБ ОСНОВНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПРИМЕТАХ СТАРИНЫ И НОВИЗНЫ В «СЛОВЕ».

За пределами работы А. А. Зализняка, за исключением статистического анализа бессоюзия, которое порождает «иллюзорное» «ощущение того, что перед нами текст поразительно современного звучания» [Зализняк-1, с. 119, 191], оказываются также и вопросы структурно-семантической организации сложного синтаксического целого. Характерно признание, что бессоюзие в «Слове» делает из него не меньшего синтаксического «монстра», чем список «Задонщины» краткой редакции [Зализняк-1, с. 203–204]. В результате основные доказательства датировки XII веком грамматической системы «Слова» сводятся к двум важнейшим, по А. А. Зализняку, пунктам — правильному употреблению двойственного числа и правильному местоположению энклитики *ся* в соответствии с законом Ваккернагеля. То, что предполагаемый «сочинитель» «Слова» в XVIII в. мог самостоятельно подметить особенности употребления данных грамматических форм в доступных ему древнерусских рукописях, представляется в книге маловероятным, хотя и, строго математически, возможным.

Глагольные формы 1-го лица двойственного числа на -вѣ [Зализняк-1, с. 41 и далее] как возможный вариант предусмотрены М. Смотрицким [Грамматики, с. 352 и др.]. Правда, они приписываются Смотрицким только ж. роду, но из Ипатьевской летописи и других древних памятников, имевшихся в древлехранилищах XVIII в., они известны для всех родов. В качестве доказательной базы двойственного числа среднего рода имен сущ. на -а привлекаются только берестяные грамоты. Но в жанровом отношении вряд ли их можно назвать образцами для высокохудожественного «Слова».

### 2. 1. К вопросу об энклитике *ся* в «Слове»

В вопросе об энклитиках показано, что они подчиняются закону Ваккернагеля, однако не доказано, что энклитики XVIII века этому панхроническому общеиндоевропейскому закону не подчиняются; предполагается, что он выполняется в позднейшее время хуже. Относительно *еси* закон Ваккернагеля в «Задонщине» соблюден полностью, в СоПИ — нет [Зализняк-1, с. 53]. Единственный вывод, который может из этого последовать: СоПИ составлено позже «Задонщины». Но опять на помощь приходит мнимый переписчик, который будто бы вставил лишнее местоимение *ты*.

<sup>1</sup> «Dažbogŭ figure aussi dans le Dit de la bataille d'Igor où le peuple russe est appelé le petit fils de Dažbogŭ. Une pareille dénomination me paraît impossible sous la plume d'un chrétien. Cette épithète me paraît un argument terrible contre l'authenticité, sinon du morceau tout entier, au moins de certains passages» [Léger, 1901, с. 121].

Констатация различия *Оуже ся есмы изнемогль* в Ип. л. и *уже снесе-ся хула на хвалу, уже връжесе Дивь на землю* в СоПИ [Зализняк-1, с. 63], действительно, вносит затруднения в версию «до Задонщины», но А. А. Зализняк, к сожалению, отказывается разбирать противоположный аргумент, вопреки обещанию разбирать по поводу каждого примера обе версии. Вместо версии «после Задонщины» произвольно вводится ничем не обоснованное ограничение: «Слово *уже*, по-видимому, подчеркнуто, будучи по смыслу равносильно целому предложению» [Зализняк-1, с. 63]. *У + же* — это две частицы, они могли бы в неподчеркнутой позиции составить энклитику, как это происходит в современном просторечии, и сама по себе ударная позиция *уже* показывает подчеркнутость. Затрагивается прагматический вопрос намерений говорящего, который в современной лингвистике все-таки входит в «проверяемую сферу», поэтому, будучи анафорическим повтором, слово *уже* никак не может составлять эквивалент отдельного предложения. Ср. в совр. просторечии с угрозой: *ужо тебе!* или *неужто? неужели?* с обязательным добавлением *тебе* или *не... ..то (ли)*. Закон Ваккернагеля не выполняется не только в приведенном выше парном контексте, но и в самой Ипатьевской летописи, ср.: «и поиде Сѣославъ на Грѣкы . и изидоша противу Руси . видѣвъ же Русь и оубояшася здѣ . множества вои . и речѣ Сѣославъ . оуже намъ нѣкамо сѧ дѣти . и волею и неволею стати противу . да не посраим земли Рускисе . но лаземы костью ту . и мртѣвы бо сорома не имаеть» (Ип. л., лл. 27об.-28).

Архаическое дистантное препозитивное расположение *ся* встречается только в первой половине «Слова», — последний раз в 120 звене из 218-ти (по А. А. Зализняку): *на ниче ся години обратиша*. После этого — единственный раз в 187-м звене как повтор при постпозитивном *ся*: *Вежи ся Половецкѣи подвижашася*. Если предположить, что СоПИ составлял не один, а несколько авторов (авторских групп), то сразу станет видно, что по признаку расстановки *ся* первая группа учитывала архаическую препозицию, вторая — нет.

Робкая попытка вставки препозитивного *ся* по типу переходных к постпозитивному *-ся* плеоназмов обязательно должна рассматриваться вместе с тройкой *\*подвигошася, \*подвижашася, подвижашася* (без палатализации, с 1-й палатализацией, как *держати*, и 3-й палатализацией) и с учетом семантики. По Срезневскому, только реальная древнерусская форма *подвижашася* обладает значением физического действия (перемещения), но не она употреблена в СоПИ. Древнерусский глагол *подвижашася* известен в разных переносных образных и символических значениях: ‘стремиться’, ‘домогаться’, ‘добиваться, прилагать усилия’, ‘трудиться, подвизаться’, ‘стараться’, ‘заботиться’, ‘возбуждаться’, — которые отмечает И. И. Срезневский, но не в прямом физическом значении. Следовательно, *подвижашася* — красивая, архаическая, но в данном употреблении искусственная форма, невозможная в древнерусском в прямом физическом значении, поскольку является фонетическим и семантическим славянизмом. Подобные гиперкорректные древнерусизмы разбросаны по всему тексту «Слова», например, с церковнославянским сочетанием *жд*: *между, прихождаху, вижду*. Здесь эрудиции Анониму не хватило: желая усилить древнерусизмы, он впал в гиперславянизмы, то есть образовывал, по В. В. Виноградову, литературнографизмы, опираясь на богатый опыт предшественников.

Большой заслугой А. А. Зализняка является открытие постпозиции *-ся*

при глаголе как церковнославянизма в русском языке, тщательно описанное в его специальной монографии о частицах [Зализняк-2]. В ней точно охарактеризованы позиционные закономерности древних русских оригинальных и переводных текстов. Но общие закономерности не решают вопроса характера употребления частицы *ся* в СоПИ.

По частотности препозиции *ся* СоПИ попадает в один разряд с Киевской частью Ипатьевской летописи и с Русской правдой, опубликованной незадолго до СоПИ [Зализняк-1, с. 68]. Ясно, что не имеет смысла рассматривать препозитивное *ся* без *ся* постпозитивного, уже слитного с глаголом. Выпишем все такие глаголы из «Слова»: *растѣкашеться, наплѣнвися, сѣяшеться, бишася, разлѣяся, падеся, прострошася, снесеся, мужаимѣся, ширѣяся, подпрѣся, дотчеся, обѣсися, подвизашася, вѣврѣжеся, плачется, свѣтитяся, вьютяся*. Среди них особенно поздним признаком происхождения обладают производные от непереходных глаголов *падеся, мужаимѣся, дотчеся, обѣсися, плачется, свѣтитяся*, которых удивительно много. Они уже не могут употребляться в известных случаях с препозитивным *-ся*. Например, во фразе *солнце свѣтитяся на небесѣ* — *ся* вообще не является энклитикой и не имеет никакого возвратного значения. Это явный аффикс. Тем не менее этот случай в обсуждаемой книге подпадает под тривиальный разряд I. положения энклитик после начального глагола, разряд, который не представляет для автора никакого интереса и потому нигде им не рассматривается [Зализняк-1, с. 60, 66]. Из трех различий (второе — в двух разновидностях):

1) Винительный падеж местоимения;

2) местоимение, утратившее ударение и переходящее сначала а) только в позиционном плане, а затем б) и в функционально-семантическом плане, в частицу, пока свободную;

3) связанная постпозитивная частица, перешедшая в аффикс, как в современном русском языке;

— выбирается только 2) б) и произвольно распространяется на 1), 2) а) и 3).

Удивительно, что еще более многочисленные собственно-возвратные глаголы *сѣяшеться, разлѣяся, прострошася, снесеся, ширѣяся, подпрѣся, подвизашася*, в которых значение частицы *ся* еще очень близко к возвратному местоимению В. п. ‘себя’, вопреки ожиданиям, не имеют архаического препозитивного *ся*. Глаголы *наплѣнвися, вѣврѣжеся, вьютяся* вряд ли содержали «энклитику», *-ся* в них есть, судя по лексическим значениям, определенно уже словообразовательный аффикс. Итак, если препозитивная частица *ся*, действительно, позволяет положить этот аргумент на «чашу весов» «до Задонщины», то постпозитивная частица *ся* требует положить свой аргумент на «чашу весов» противоположную. Надо только иметь в виду, что требования к «чашам весов» не одинаковые. На одной — повторение и без того многочисленных талантливых устремлений реконструировать язык XII века, на другой — доводы, ставящие объявления Карамзина 1797 г., Мусина-Пушкина и др. о находке нового древнерусского памятника под сомнение. Разумеется, требования к таким доводам повышены, но и число их не может и не должно быть великим.

Как видим, в обсуждаемой книге нигде не учитывается семантика *ся* и движение древнерусского языка от *ся* — возвратного местоимения к — *ся* — грамматикализованной частице (аффиксу). В примерах дистантного

положения *ся* в СоПИ явно виден формальный подход и Анонима, и автора обсуждаемой книги к такому *ся* как признаку старины, без учета процесса грамматикализации возвратного местоимения *ся* ‘себя’. Анониму приходится здесь отказать не только в признании его гением интуиции, но и в признании его гением лингвистического анализа, с математической точностью постигшим сложные правила употребления *ся*.

В книге правильно подмечена склонность Анонима к редким грамматическим формам, но при этом делается несколько поспешный вывод о том, что эта редкость употребления свидетельствует о древности самого текста. Ведь Аноним только того и добивался употреблением этих древних и нетипичных для церковно-славянского языка форм, целенаправленно подмечаемых им в древнерусских рукописях, — эффекта древности. И для нахождения подобных форм употребления *ся* Анониму достаточно было обратиться к тексту Ипатьевской летописи, содержащему описание неудачного похода князя Игоря. В отличие от А. А. Зализняка [Зализняк-1, с. 71], мы полагаем, что странным является не вполне естественный факт, что Аноним обратил внимание на древнее употребление энклитики *ся* в описании похода Игоря в тексте Ипатьевской летописи, а утверждение о невероятности того, что Анониму удалось среди огромной массы древних текстов выделить особенности местоположения *ся* именно в описании похода Игоря.

Употребление редких слов и грамматических форм — характерный признак «стилизации под старину». Современному лингвисту, которому доступны современные компьютерные технологии обработки древних текстов, кажется невероятным, что в XVIII в. была возможна высокая филологическая культура. Культура эта была чрезвычайно высокой, но не настолько, чтобы не утрировать «старину». В вопросе местоположения энклитики *ся* Аноним, в погоне за древностью и редкими формами, непохожими не только на современные ему русские формы, но и на привычные для него церковно-славянские, исказил в целом ряде мест «Слова» реальный характер употребления энклитики *ся* в древнерусском языке. И в этом пункте соблюдение формального закона Ваккернагеля, не требующее больших познаний в древнерусском языке, явно недостаточно для корректного лингвистического анализа древнерусских форм.

Поскольку закон Ваккернагеля<sup>1</sup> был открыт в 1892 г. на основе исследования древних языков [Wackernagel, 1892], у внимательного читателя невольно возникает вопрос: как же — еще задолго до открытия этого закона в XIX в. — научились образованные европейцы (в том числе и многие русские в XVIII в.) правильно расставлять энклитики хотя бы только в чужом им латинском языке? То, что просвещенный Аноним-полиглот XVIII в., искавший систематически редкие и разговорные формы в древних текстах, мог усвоить древние правила расстановки энклитик (интуитивным путем и / или путем лингвистического анализа — здесь не всегда следует настаивать на абсолютном противопоставлении этих двух форм усвоения языка), не представляется нам непосильной для него задачей.

<sup>1</sup> Точнее — правило постановки энклитик в постпозиции к ударному элементу тактовой группы, более или менее развернуто и четко сформулированное разными учеными и до Ваккернагеля — от А. Вейля (1844) до Б. Дельбрюка (1878) [Кисилиер, 2006, с. 122–123].

Такой же непосильной задачей не кажется нам и то, что Аноним, судя по всему, хорошо владевший церковно-славянским языком, мог и даже должен был обратить внимание на различия в употреблении двойственного числа в древнерусских текстах и в церковно-славянской норме. Владение латинским в старой Европе и сложнейшие сочинения на этом языке — дело все-таки ученых. Но освоение гражданами государства Израиль после войны языка двухтысячелетней давности — это задача намного более сложная, чем задача сочинения образованными и талантливыми русскими людьми конца XVIII века (версию чешского аббата Й. Добровского мы исключаем и соглашаемся с основным выводом из критики Кинана. — *Д. Д. и С. В.*) небольшого по объему текста на генетически и идеологически родном для них языке шестисотлетней давности. Написанное рукой самой императрицы Екатерины II Житие св. Сергия Радонежского, непосредственно предшествующее древнерусскому тексту «Слова о полку Игореве» в ее бумагах (листы 6–24: «О преподобном Сергии историческая выпись»), житие, в котором рассказ ведется «то по-русски, то языком церковно-славянским и подлинными словами рукописных источников»<sup>1</sup>, могло служить тому примером.

В самом деле, поскольку невозможно отрицать способность к лингвистическому анализу древнерусских форм у современных лингвистов, то невозможно отрицать такую же способность у знатока (и тем более у целого ряда знатоков) древнерусских и церковных памятников в XVIII в. Весь вопрос в том, поддается ли эта способность анализу строго математическими методами? Думаем, что нет.

## 2. 2. Вопросы истории глагольного видообразования в «Слове» и мнимые имперфекты совершенного вида в «Слове»

Вопросы истории глагольного видообразования поднимаются в обсуждаемой книге на частном примере возможных имперфектов от глаголов совершенного вида [Дмитриев, 1960, с. 85–106]. Формы *дотечаше, поскокыше, възграяху* в СоПИ считаются имперфектами совершенного вида. Отсутствие таких форм в древнерусских памятниках письменности принимается на с. 102–103 не за ошибку, а, напротив, за «безупречную» реконструкцию. Между тем ошибка состоит в следующем. Формы действительного живого имперфекта сов. вида имеют синонимичные варианты имперфекта, вошедшего в несовершенный вид, типа *отпустяше — отпуцаше*. Ряд таких пар приведен по Ю. С. Маслову на с. 99. Для глаголов из СоПИ такими парами были бы *дотечаше — \*дотекаше, поскокыше — \*поскакиваше, възграяху — \*възграиваху*. Но русские глаголы движения до сих пор остаются в рамках архаического довидового способа глагольного действия. Глагол *течи* вообще утратил положение прототипического простого глагола движения, поэтому он не «обрастает» таким же большим количеством приставок, как другие глаголы движения типа *идти — ходить*, а исходную пару *течи — \*текать*, пригодную для видообразования типа *дойти — доходить*, образует только в низовом просторечии, поэтому *дотечи* без своего оппозиита не может

<sup>1</sup> *Екатерина II. Житие преподобного Сергия Радонежского. Написано Государынею Императрицею Екатериною Второю. Сообщил П. И. Бартнев. СПб., б. г. [1887]. С. VI. [Пекарский, 1864, с. 1–2, 5].*

быть отнесен к совершенному виду (обозначает и 'долететь', и 'долетать'), следовательно, и форма *дотечаше* не может быть квалифицирована как имперфект совершенного вида, она вообще отсутствует в древних текстах. Глагольная пара *скочители* — *скакати*, напротив, хотя и сохраняет семантику движения, без приставок не остается целиком в рамках несовершенного вида (ср. *блудить* — *блуждать*, *катить* — *катать*, *тащить* — *таскать*, *валить* — *валять*). Из этого как будто бы следует, что форма *поскочаше* — определенно имперфект сов. вида, но начинательный способ глагольного действия и сейчас с трудом образует пару несов. вида. Поэтому приставочные формы под звездочкой остаются мнимой величиной. Вряд ли они когда-либо существовали в русском языке. И если индивидуальное конструирование формы слова *дотечаше* и под. «безупречно», то оно не находит системного оправдания в образовании реальных словоформ. В «Словаре-справочнике» представлены только древнерусские формы аориста *поскочи*, наст. вр. несов. в. *дотечеть*, форма XVII в. *возгряло* и былинная *возгрявал*.

Формы, образованные в СоПИ от глагола *рыскати*, производятся непосредственно в тексте: *Всеславъ Князь людемъ судяше*, *Княземъ грады рядяше*, *а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше*; *изъ Кыева дорискаше до Курь Тматороканя*; *великому хръсови влъкомъ путь прерыскаше*. Здесь нет какой бы то ни было парадигматической рефлексии, ударение не поставлено, и мы вольны повсюду считать ударным суффикс *-а-*, что исключает трактовку приставочных образований как имперфектов совершенного вида.

Для объяснения подобных форм в «Слове» приводятся относительно новые формы типа *отпустяше* (не *-щаше*) от совершенного вида. Их, действительно, нельзя назвать «двувидовыми имперфектами». Однако этот «второй вариант» в совершенном виде на поверку оказывается единственным по морфонологическим соображениям: отсутствует *\*-j-*, который закрепляет будущие видовые пары типа *отпустити* — *отпущати*. Только с такой поправкой можно принять нечастые формы типа *отпустяше* и обычные формы типа *отпущаше*, сложившиеся в эпоху до становления специфически русской категории глагольного вида (в узком морфологическом смысле) и вошедшие во вторичную ассоциацию, позже переосмысленные в своих формообразовательных связях. Они образованы (произведены) от *отпустити*, но приобрели вторичную мотивацию новыми инфинитивами *отпущати*. Спряжение с сохранением суфф. *-а-* *отпущаю*, *отпущаеши* (не *\*отпущу*, *отпущеши*) ясно показывает это.

О формах *обличаше*, *ублажаше*, *примираше* и под. говорится в совершенно синхронистском духе: они «имеют одинаковый имперфект» как от форм сов. вида *обличити*, *ублажити*, *примирити*, так и от форм несов. вида *обличати*, *ублажати*, *примиряти*. Но вторые формы производны от первых и исторически представляют собой лексикализацию имперфектов, то есть на деле выстраивается тройственная связь *обличити* — *обличаше* — *обличати*, и наш нынешний несовершенный вид — это, по происхождению, разросшийся дочерними производными формами имперфект.

После совершенно явного и бесспорного примера на имперфект от производящего довидового глагола *раздълити* (*раздъляхуть*) читатель встречает пессимистическое заключение: «К сожалению, надежно установить вид глагола в таких случаях невозможно» [Зализняк-1, с. 95]. Для XII–XIII вв.,

времени создания Успенского сборника, из которого цитируется Житие Феоодосия, действительно невозможно, но для более поздних периодов формы *раздѣляхуть* — *раздѣляти* определенно относятся к несовершенному виду. Диахроническое измерение языка здесь произвольно заменяется синхроническим. Мы с радостью поддержали бы такой подход, если бы он был последовательно панхроническим, и тогда «Слово» можно было бы непротиворечиво признать произведением, смело расширяющим на шесть веков вглубь (а ныне уже и на восемь) рамки современного русского литературного языка.

Имперфекты от основ наст. вр. типа *начняху* (с. 95-96) свидетельствуют только об относительном значении времени (настоящего в прошедшем), а в «Домострое» — и вовсе во вневременном значении [Колесов, 2009, с. 308], но никак не о завершившей свое развитие и вполне грамматикализовавшейся категории русского глагольного вида.

Историческая динамика имперфектов от совершенного вида изложена верно. Но именно отмирание имперфекта совершенного вида и сохранение имперфекта только несовершенного вида противоречит заявленным на с. 95 «двувидовым» имперфектам типа *обличаше*. Если следовать такой логике, то «двувидовые» имперфекты, а значит в том числе и совершенного вида, должны были хорошо сохраняться на протяжении всей истории.

Формы *будяше*, *дадяше* лишней раз показывают свое довидовое происхождение.

Примеры Ю. С. Маслова показывают действительные и строго понятые формы имперфекта, производные от глаголов совершенного вида. Следующее за этим упоминание А. А. Зализняком «омонимии видов» (заметим, теперь так определенно понимаются «двувидовые» имперфекты), сообразно значению термина *омонимия*, позволяют отнести форму *обличаше* не только к несовершенному, но и совершенному виду в любое время ее существования. Но это уже напрямую противоречит изложенной на с. 96 исторической динамике имперфектов совершенного вида. Такой омонимии видов не существовало, напротив, формы типа *обличаше*, после переразложения основы, стали базой суффиксальной имперфективации типа *обличити* — *обличати*. В целом, пояснения Ю. С. Маслова изложены верно, но неверно применены к СоПИ.

Насколько осторожно необходимо относиться к формам имперфекта на фоне новой русской категории вида, показывает следующий пример. Имперфектная форма греческого приставочного глагола «до исправления в Киеве и при Никоне переводилась славянским имперфектом несовершенного вида — *пытаху* (Гимовская ред., л. 26 об.), что было обычным. Но в XVII в. этот глагол был переправлен на *испытаху*, т. е. на имперфект с основой совершенного вида. Как доказал Ю. С. Маслов, славянский имперфект с основой совершенного вида иногда встречался и мог иметь целый ряд особых значений... Но причина замены *пытаху* на *испытаху* не эта, так как имперфект, как и аорист, в XVII в. был формой устаревшей, и для справщика гораздо большее значение имел вид глагола, который в данном случае меняется. Мы предполагаем, что причиной замены было то, что в середине XVII в. значения глаголов *пытати* и *испытати* уже разошлись, как в современном русском языке, и в данном случае больше подходил с точки зрения никоновского справщика глагол *испытати* в значении «спрашивать, разыскивать» [Момина, 1982, с. 115–116].

В примере *и выгнаша... и онъ поидяше...* — типичный случай употребления имперфекта в значении действия, вызванного действием, выраженным формой аориста и следующим непосредственно за ним. Таких примеров много и в архаических текстах, в Св. Писании и др. Здесь нет «чужого» значения аориста. Единичность/повторяемость суть не временные, а аспектуальные значения. Имперфект же — это частное понятие (разновидность) морфологической категории времени.

Но эта категория в русском языке упростилась. Имперфекты от основ, вошедших в новую видовую оппозицию в качестве членов совершенного вида, не были востребованы после XV века не потому, что их «никто уже не умел правильно по смыслу употреблять», а потому, что имперфект в русском языке (в отличие от болгарского) совпал по своим значениям со значениями нового прошедшего несовершенного на -л-. Старое содержание стало оформляться по-новому, а церковно-славянская норма не знает развитых имперфектов совершенного вида.

К сожалению, приходится вспоминать кантово положение о том, что ошибка в основании (принципе, исходном положении, системе) тяжелее ошибки в ходе рассуждения.

Итак, словоформы *дотечаше, поскочяше, възгряху* следует рассматривать как гиперкорректные формы, образованные под влиянием церковно-славянской нормы XVIII в.

Почему-то далее, на с. 104 прямо уже применяется двойной стандарт: *\*взраивали* в литературном языке «едва ли допустимо», хотя именно эту форму знают наши былины, — *\*възгряху* же — допустимо, хотя этой формы не знает ни один текст.

К «безукоризненному» соблюдению морфологических (что еще понятно, в старом асемантическом смысле термина «морфология») добавляется и соблюдение «семантических» правил, как мы увидели, сформулированных без необходимого учета способов глагольного действия и реального хода видообразования в русском языке.

Имперфект совершенного вида, о котором шла речь, Аноним якобы должен был открыть самостоятельно. Но, как мы показали, он его «переоткрыл», открыл слишком усердно, без учета необходимых исторических ограничений. Имперфект, то есть время преходящее, был хорошо описан в грамматиках и прекрасно представлен в церковно-славянских текстах XVIII в., напр.: «Чрѣзъ всё житіе наше, котороє нощію нарещійся мѡжетъ, *метѡхомъ* мрѣжи наша въ пространное міра сегѡ мѡре, толікѡ бѣдѣ и печѡлей при многмятѣжной ловітѣвѣ воспріѡхомъ, и ничтѡже ѡхомъ. Но не ходя до мертвецѣвъ, вопро-симъ живыихъ сегѡ свѣта ловітелей, которые хитроплетѣнныя прѡмыслѡвѣ и трудѡвѣ своихъ мрѣжи въ тлетѡрную міра сегѡ пучіну запушѡють: чтѡ ѡша, чтѡ ѡуловіша» [Стефан, 1804–1805, с. 77].

### 2.3. О моделировании языковой личности Анонима

В ряде классических работ, в том числе в работах акад. П. П. Пекарского, члена-корр. Академии наук П. К. Симони, акад. Д. С. Лихачева и члена-корр. Академии наук Л. А. Дмитриева, опубликованы материалы, свидетельствующие о том, что до выхода в свет первоиздания «Слова» в 1800 г. существовали

не только рукописные «переложения» «Слова», но и копии предполагаемого древнерусского оригинала, а также выписки из него, отличающиеся друг от друга как графическим обликом, так и содержанием самого древнерусского текста [Пекарский, 1864; Симони, 1890; Лихачев, 1978; Дмитриев, 1960]. В работах П. П. Пекарского и Г. Н. Моисеевой [Пекарский, 1864; Моисеева, 1993] приведены также данные, которые показывают непосредственную причастность к работе над «Словом» в 90-ые годы XVIII века самой Екатерины II<sup>1</sup>, щедро делившейся собранными ею сведениями по русской истории и древнерусскими рукописями со своими сотрудниками.

Сам по себе примечательный факт обнаружения подготовительных материалов к публикации «Слова» среди собственноручных бумаг Екатерины II и с ее пометами, содержащих не только ее заметки по поводу родословных русских князей и их жен, но и материалы, связанные с изучением императрицей истории Куликовской битвы, а также то, что древнерусский текст «Слова» (листы 25–33), как мы уже сказали, идет сразу после написанного рукой императрицы Жития Сергия Радонежского (листы 6–24: «О преподобном Сергии историческая выпись»), составленного древним слогом, «с заметным желанием удержать обороты церковно-славянского языка» [Пекарский, 1864, с. 1–2, 5], не получил еще до сих пор в научной литературе всестороннего объяснения в связи с литературными занятиями самой императрицы.

Екатерина II грешила переделками чужих литературных произведений, используя их сюжеты и непосредственно тексты в своих собственных (или приписываемых ей) сочинениях. Так, например, в «Сказке о царевиче Хлоре» Екатерина II использовала сюжет и сам текст французской сказки «*Florine ou la belle Italienne*» [Florine, 1713], перенеся действие из Италии эпохи до рождения Ромула (*avant la naissance de Romulus*) в древнюю Русь «до времен Кия, Князя Киевского», заменив сказочную принцессу Флорину на русского принца Хлора [Сиповский, 1910, с. 313].

Естественно, возникает вопрос: не послужила ли работа Екатерины II над древними материалами, связанными с Куликовской битвой, толчком к созданию самого замысла и ранних версий «Слова», обнаруженных в бумагах Екатерины II?

Представляет также интерес в связи с принципами первого издания «Слова» с историческими примечаниями издание пьесы Екатерины II «Подражаніе Шакеспиру. Историческое представление [...] изъ жизни Рюрика». Вновь изданное съ примѣчаніями Генераль Маіора И. Болтина» [Екатерина II — 2]. Наконец, исследователям СоПИ хорошо известно описание похода князя Игоря 1185 года на половцев в екатерининских «Записках касательно Российской Истории», впервые опубликованное в 12-й части «Собеседника любителей русского слова» в 1783 году [Екатерина II — 1]. Не менее хорошо известно и об интересе Екатерины II к деятельности А. И. Мусина-Пушкина и других членов его кружка, начавших заниматься СоПИ еще при жизни императрицы. Отнюдь не случайно первое упоминание о СоПИ содержится уже в рукописи «Опыта повествования о России», написанной ближайшим советником Екатерины II и ее кабинет-министром И. П. Елагиным [Козлов, 1988, с. 146–149]. В связи с этими и многими другими фактами, требующими

<sup>1</sup> В этом вопросе мы расходимся с А. А. Зиминим [Зимин, 2006], так же как и в вопросе авторства «Слова».

еще специального исследования, нам представляется весьма правдоподобным, что не А. И. Мусин-Пушкин, а сама Екатерина II вполне могла быть инициатором опыта переложения на архаический русский язык текста СоПИ.

Если это так, то следует рассмотреть версию процесса работы над СоПИ, который шел, вероятно, в направлении от общего коллективного замысла, представленного уже в бумагах Екатерины II кратким «Содержанием» «Слова о полку Игореве» (в дальнейшем — Е1), к тексту утраченного протографа переложения «Слова», представление о котором дает само переложение (в дальнейшем — Е2), а от него к Екатерининской копии древнерусского текста «Слова» (Е3) и, наконец, к древнерусскому тексту печатного издания 1800 г. (П1) и его переводу (П2) с параллельной разработкой примечаний.

В пользу именно такой последовательности работы над текстом «Слова» свидетельствуют некоторые особенности Е1:

1) согласно Е1, «кровополитное сраженіе» между воинами князя Игоря и половцами произошло в 1185 году «при рѣкѣ Калкѣ близъ Дону». В окончательном тексте Е3 упоминается символическая река Каяла, а не река Калка, близ которой в действительности произошло другое — более позднее — сражение, не с половцами, а с татарами в 1223 г., то есть ошибка, навеянная не очень последовательным чтением летописей, исправлена;

2) в тексте Е1 Ярославна представлена не как жена князя Игоря, а как «супруга младаго Владиміра». Примечательно, что именно Екатерина II исправила эту ошибку Е1 и установила, что Ярославна была Ефросинией Ярославной Галицкой [Моисеева, 1993, с. 23–27].

Как видим, содержание Е1 отражает не некий подлинный текст средневековой поэмы, а более ранний этап работы над самим текстом «Слова».

Что касается времени появления Е2, то о более раннем появлении самой рукописи текста Е2 по сравнению с рукописью Е3 пишет уже Л. А. Дмитриев, хотя он и дает этому факту другую интерпретацию, объясняя «какой-то спешкой»<sup>1</sup> посылку Е2 Екатерине II «в полурабочем виде», без древнерусского текста Е3, переписанного отдельно, так как не хватило места в оставленной для него левой части листа, «чтобы *потом подогнуть под перевод*<sup>2</sup> расположение в ней древнерусского текста» [Дмитриев, 1960, с. 313]<sup>3</sup>. Более вероятной причиной отказа от заполнения левой части страницы является не спешка, а обнаруженные писарем несоответствия в Е3 по сравнению с Е2<sup>4</sup> и физическое отсутствие готового текста Е3 еще в тот момент, когда переписывался Е2.

Рукопись Е2 и Е3 несет на себе следы работы Екатерины II над текстом Е3, которые неоднократно отмечались исследователями [Пекарский, 1864, с. 6; Моисеева, 1993, с. 20–23]: это приписки рукой императрицы на левом чистом

<sup>1</sup> Ср. [Лихачев, 1978, с. 265–266]. В отличие от Д. С. Лихачева, который полагал, что текст Е2 отражал «какую-то промежуточную стадию подготовки текста «Слова», более позднюю, чем Екатерининская копия, но более раннюю, чем текст издания 1800 г.» [Там же, с. 266], мы считаем, что текст Е2 предшествовал созданию Екатерининской копии Е3.

<sup>2</sup> Выделено нами — С. В. и Д. Д.

<sup>3</sup> Заметим, что в другом месте своего исследования (там же, с. 276) Л. А. Дмитриев присоединяется к мнению Д. С. Лихачева о более позднем, чем Екатерининская копия, появлении текста «перевода» Е2.

<sup>4</sup> Подробнее см. [Власов, Демидов].

поле, представляющие собой объяснения непонятных слов и языковых форм (л. 27 об.: *воззръ* — в тексте: *възре*; *борзья кони* — в тексте *бързья комони*), подчеркивания отдельных имен собственных с цифрами на левом поле, обозначающими необходимость введения в текст исторического комментария (л. 29 об.: *Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе* — на левом чистом поле рукою Екатерины II поставлена цифра 2 *при Олзь Гориславичи* — на поле стоит цифра 3, *Даждь-Божа внука* — на поле цифра 4; л. 31 об.: *Бусова* — на поле цифра 5; л. 32: *Сыны Глѣбовы, буй Рюриче и Давыде* — на поле цифра 6, *Галичкы Осмомысле* — на поле цифра 7; л. 33: *Изяславъ сынъ Васильковъ* — на поле цифра 8; л. 33 об.: *Ярославна рано плачетъ въ Путивль* — на поле цифра 9) [Моисеева, 1993, с. 20–23].

Если считать Екатерину II непосредственно участвовавшей в работе над СоПИ, то из ее помет видно, что она предложила и сам *образ текста*, навеянный, возможно, образом текста Оссиановых поэм Макферсона, с объяснениями непонятных слов и учеными примечаниями, комментирующими имена собственные. В том же фолианте, в котором находится рукопись «Слова», на листе 269 сохранилось собственноручное распоряжение Екатерины II: «Требовать изъ Чернигова, Переяславля, Новгородка-Северскаго, чтобъ прислали реестры рода Рюрикова князей поименно, какъ въ тѣхъ городахъ сохранены. Также и супругъ тѣхъ князей и, буде отъишутся супруги, отъ какого рода. Также просить митрополита кievскаго и архіереевъ вышеписанныхъ городовъ, чтобъ изъ монастырей тѣхъ епархій такіе же реестры присланы были» [Пекарский, 1864, с. 7]. Это распоряжение мы бы сопоставили с другим еще более «эпохальным» распоряжением Екатерины II — присылать ей из разных стран переводы на языки народов всего мира тематических списков слов для задуманного ею «Сравнительного Словаря всех языков и наречий» [Сравнительный словарь, 1790–1791].

По мнению Г. Н. Моисеевой, перевод «Слова» и комментарии в бумагах Екатерины II «были сделаны, как писал уже Д. С. Лихачев, «в спешном порядке» и, как теперь можно полагать с большим основанием, в 1791 — самом начале 1792 г.», ранее, чем публикация в 1793 «Родословника князей великих и удельных рода Рюрика» Екатерины II [Моисеева, 1993, с. 25].

Вышеизложенные обстоятельства позволяют нам предположить, что если «Слово» возникло в XVIII в., то над ним работал не один человек, а целый коллектив (или даже несколько коллективов, возможно, под руководством самой императрицы Екатерины II) квалифицированных историков, литераторов, палеографов и знатоков древнерусского языка, имевших в своем распоряжении богатейшие собрания древнерусских рукописей Москвы и Петербурга.

Как видим, ссылки на то, что эрудит XVIII в. не имел доступа к не опубликованным еще древнерусским памятникам, также не выглядят убедительными в работе, моделирующей языковую личность «мистификатора» без изучения историко-литературной стороны вопроса публикации «Слова» в XVIII веке.

Сам факт многократного переписывания копий текста на древнерусском языке и его «переложений» говорит о том, что в целом ряде так называемых «ошибок при переписывании» повинен не Аноним, а копиисты XVIII в. и, возможно, сами редакторы-публикаторы текста «Слова» в 1800 г. Разумеется, никто из них не знал о «законе нарастания процента ошибок по ходу списывания» [Зализняк-1, с. 139]. Не знал тем более, что этот закон не соблюдается

в Екатерининской копии «Слова», появившейся явно до первоиздания 1800 г. «Ошибки по ходу списывания» в Екатерининской копии свидетельствуют о том, что копиист уже делал «ошибки» не в конце, а в самом начале списывания, в написании таких словоформ, как *полку* (вместо *пѣлку* или *пѣлку*, как в разных экземплярах печатного издания 1800 г.), *волкомъ* (вместо *вѣлкомъ*), *полкы* (вместо *пѣлкы*) и только начиная со слова *прѣсты* стал воспроизводить болгаризированную графику, да и то непоследовательно, о чем свидетельствуют написания *наполнився* (вместо *напѣлнися*, как в тексте 1800 г.), *полкы* (вместо *пѣлкы*), *бързыя* (вместо *брѣзыя*) [Дмитриев, 1960, с. 257–258] и т. д. Это говорит о том, что дело здесь не в «накоплении усталости» и «постепенном ослаблении внимания» [Зализняк-1, с. 137], а в причинах совершенно другого характера, связанных, вероятно, как с навыками письма копиистов, так и с представлениями (часто ошибочными) редакторов-корректоров текста о большей или меньшей древности разнообразных написаний или о соответствии написаний некоторому корректорскому единообразию (ср. [Лихачев, 1978, с. 74–75; Дмитриев, 1960, с. 58].

В свете истории публикации «Слова» излюбленный аргумент сторонников раннего происхождения «Слова», заключающийся в невероятности предположения о том, что мистификатор XVIII в. имел перед собой пять разных списков «Задонщины», представляется нам еще менее убедительным, чем предположение о том, что в разное время в разных местах разные авторы разных списков «Задонщины», имевшие разный (порой весьма низкий!) уровень образования, по-разному выбирали из разных не дошедших до нас списков «Слова» понравившиеся им слова и целые куски текста. Так, А. Г. Бобров полагает, что к «Слову» при написании и редактировании «Задонщины» обращались дважды [Бобров-2, с. 117], что невероятно: обычно в разное время цитируются тексты, многократно переписывавшиеся. Не случайно сторонники древности «Слова», так же, как и сторонники поздней датировки «Слова», высказывают предположение о существовании действительно не дошедшей до нас пространной редакции «Задонщины», может быть, еще более ранней, чем список краткой редакции второй половины XV века, по сути, предположение о существовании того «волшебного» списка, решающего все текстологические проблемы, о котором пишет А. Г. Бобров.

Склонность автора «Слова» к изысканным образам, редким даже для древнерусского языка словам и грамматическим формам, независимо от решения вопроса, в каком веке творил этот безымянный гений, свидетельствует не только о его уникальной эрудиции и начитанности в древнерусской литературе, но и о его исключительных лингвистических и других индивидуальных способностях. Из самого портрета этой уникальной языковой личности следует, что к ней неприменимо понятие нормы и психологии среднего обывателя. Обсуждаемая книга не опровергает, а только подтверждает данное положение.

В работе А. А. Зализняка говорится о неимоверно большом знании истории языка, которым должен был бы обладать предполагаемый автор «Слова» XVIII в. (Аноним). Более того, знания эти должны быть не просто большими, они становятся бесконечными, поскольку к Анониму выдвигаются несбыточные требования. Логическая ошибка в этих рассуждениях заключается в том, что разнообразные сближения с древними текстами, производимыми множеством ученых и самим А. А. Зализняком, предполагаются с необходи-

мостью известными также и Анониму, а затем делается вывод, что он не в состоянии отыскать таких редких сближений. Вопрос не ставится, необходимы такие сближения вообще или нет. В книге приводится большое количество других сближений диалектного характера, из которых видно, что и они так же возможны и достаточны, следовательно, сближения с древними текстами уже не необходимы, и требования в историко-лингвистических познаниях к Анониму можно существенно снизить.

Итак, в книге выдвигаются заведомо избыточные требования к уровню освоения вопросов языкознания, на котором должен находиться Аноним. Владение каким-либо языком (родным или даже иностранным) — природная способность, причем более высокая, чем владение наукой об этом языке. Вот почему **всегда кажется**, что сочинить так, как, скажем, летописец Нестор или Епифаний Премудрый, невозможно: знаний не хватает. Но здесь нужны не только особые знания и умения, здесь нужен **талант**.

Переформулируем предположение: обладал ли такими знаниями и умениями, таким талантом и такими способностями поэт XII века, какие были необходимы для создания «Слова»? Мы знаем наших древних блестящих проповедников, богословов, переводчиков, публицистов, составителей богослужебных песнопений, житий, летописей, хождений, множества деловых документов. Но мы не знаем поэтов, которые бы слагали художественные произведения о летописных событиях. В то время только еще передавались из уст в уста былины Владимирского цикла; даже фольклорные исторические песни появляются не ранее XV в.

«Слово» показывает высший уровень владения языком и искусством слова, уровень опыта, который в жанрово-стилистическом, диалектном и формально-лингвистическом отношениях еще не был накоплен к концу XII века. Нет лучшего способа показать всем русским читателям, и особенно учащимся, события и родной язык древности, чем сочинение «Слово о полку Игореве» — плод кумулятивного (накопительного, без потери приобретаемого опыта) развития русского языка.

В книге А. А. Зализняка сопоставляются ситуации «родной язык — иностранный (неблизкородственный) язык» и «родной язык современный — родной язык древний». Обе ситуации приравниваются друг к другу, хотя ясно, что в первом случае речь идет о вживании в другой мир, изучении другого кода, во втором случае — в расширении уже известного и привычного мира, обогащении родного кода. Это принципиально разные ситуации. Сказано прямо: «Древнерусский язык — тот же иностранный» [Зализняк-1, с. 18]. С этим положением категорически согласиться нельзя, но, к сожалению, именно это положение оказывается исходным во всех дальнейших рассуждениях А. А. Зализняка.

Отношение к языку родному и к языку изучаемому или научно исследуемому различное. Родной язык мы, как коллективный говорящий субъект, стремимся расширить в своем объеме, что и происходило в конце XVIII века в процессе его славянизации. Иностранный язык мы воспринимаем отстраненно и так или иначе формируем двуязычие. Возможно, для каких-то частных исследовательских целей полезно **представлять** и древние формы родного языка как иностранные, но эту условность необходимо всякий раз преодолевать для достижения исторической полноты картины. Иностранные ученые легче аналитически раздробляют и вновь синтезируют изучаемый

объект, поскольку его части являются для них одинаково трудными предметами: современный русский разговорный язык иностранцу (а особенно вдумчивому ученому) освоить даже труднее, чем старинный язык по книгам. Как же оцениваются иностранные ученые?

### ЧАСТЬ III. О РАБОТАХ НЕМЕЦКИХ И АВСТРИЙСКИХ ЛИНГВИСТОВ — СТОРОННИКОВ ПОЗДНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

С 1970-х годов к французским исследователям «Слова о полку Игореве», склоняющимся ко мнению написания «Слова» «после Задонщины», один за другим стали присоединяться лингвисты немецкие и австрийские. Стали множиться языковедческие основания, исключаящие появление текста «Слова» в XII или хотя бы в XVI в. К сожалению, до рассматриваемой книги А. А. Зализняка никаких отзывов о новых трудах немецких коллег русские языковеды не оставили<sup>1</sup>. В этом смысле труд акад. А. А. Зализняка по праву можно назвать пионерским. Он привлекает внимание соотечественников к текущим зарубежным работам на актуальную животрепещущую тему.

#### 3.1. О работах М. Мозера и К. Троста

О статье М. Мозера [Moser, 2005] в книге А. А. Зализняка читаем следующее: «При этом в изложении М. Мозера дело выглядит так, что объяснения требуют только примеры с препозицией *ся*, а примеры с постпозицией представляют собой как бы нейтральный, ни о чем не говорящий фон, и можно не учитывать ни их структуру, ни их количество» [Зализняк-1, с. 75]. Но, во-первых, Мозер вообще нигде не пишет о том, что примеры с постпозицией *-ся* «представляют как бы нейтральный, ни о чем не говорящий фон», его статья посвящена преимущественно частице *то* и другим частицам, но не аффиксам (хотя бы и происходящим из частицы); во-вторых, как было показано выше, если бы он взялся писать о таких примерах, он пришел бы примерно к таким же выводам, усиливающим аргументы «после Задонщины», поэтому сама претензия беспочвенна. М. Мозер правильно применяет дедукцию: чем меньше примеров на данное правило, тем меньше вероятность, что использовано именно оно, а когда пример всего один из пяти, то такая вероятность крайне мала. В книге А. А. Зализняка неправильно применена индукция: редкий пример в СоПИ будто бы требует обоснования столь же редкими примерами в древних памятниках. Фонетисты хорошо знают, что внешне схожие редкие нетипичные явления разных эпох могут быть вызваны разными причинами.

В критике Мозера за образцы принимаются не реальные примеры из текстов, а только статистические таблицы. За образцовый берется текст Ип. л., которая была известна в XVIII веке, а в ней — прямая речь, — такой же синтаксический тип употребления, что и в высказывании *а чи диво ся, братіє, стару помолодити*.

По поводу случая двойного *ся* можно кратко сказать, что в самой обсуждаемой книге допускается неосознанная имитация текстов XV–XVI вв. [За-

<sup>1</sup> Исключение составляет литературоведческая рецензия [Прохоров, 1975].

лизняк-1, с. 85]. Следовательно, возникает противоречие, поскольку до этого требуется осознанный поиск подобного редкого примера в древних текстах.

К. Тросту [Trost, 1974] приписывается мысль, будто он утверждает, что церковнославянизмов в СоПИ «крайне мало» [Зализняк-1, с. 21]. В действительности на указанной с. 140 своей статьи Трост пишет буквально о *Zurückdrängung* церковнославянизмов, то есть об оттеснении, подавлении в тексте лексики с такими признаками, используя, в совершенно немецком духе, образ военных действий, поскольку *zurückdrängen* означает ‘заставить противника перейти к обороне’<sup>1</sup>. Пожалуй даже, эта ситуация предполагает обилие и мощь славянизмов, если с ними Карамзину приходится сражаться. По Тросту, Карамзин стремился изгонять (*verbannen*) славянизмы из русского литературного языка, что соответствует действительности.

Наблюдения Троста и Хендлера, вопреки А. А. Зализняку, не противоречат, а дополняют друг друга.

Со с. 282 работы К. Троста и других немецких и австрийского ученых разбираются уже особо. Можно принять замечание, что **один** 29-летний писатель Н. М. Карамзин не мог составить «Слово», но его участие как редактора в работе над «Словом» все же подтверждается приводимыми и не приводимыми Тростом фактами. Нами предпринимались безуспешные попытки принципиального опровержения К. Троста, в частности, сравнение по композиции и опорным словам «Слова» с «Островом Борнгольм» (1793), по лексике и фразеологии — со стихотворением «Волга» (1793), по синтаксису, включая построение периодов, и стилю — с «Цветком на гроб моего Агатона» (1793). Сходства, отмечаемые К. Тростом для других, художественных прозаических произведений Карамзина, также очень значительны. Факты биографии «Николая Михайловича», у которого «затерялся оригинал» (будто бы перевода СоПИ), также требуют более внушительного знакомства с текстом «Слова», чем простое его изучение в качестве одного из первых слововедов.

Ни один из многочисленных примеров именных словосочетаний в форме Род. падежа, приводимых А. А. Зализняком, не соответствует семантике выражения *третьяго дни* в «Слове». Этот оборот в СоПИ не может быть объяснен как калька с греч. [Зализняк-1, с. 293]. *Третьяго дни*, по Тросту, это «отчуждающее образование» по типу немецкого Род. падежа. А. А. Зализняк опускает здесь важную семантическую деталь, которую отмечает Трост: таким образом можно объяснить происхождение современного выражения *третьего дня* ‘позавчера’, но не того, которое видим в СоПИ. При семантической исторической константе ‘позавчера’, происходит сокращение оборота за счет утраты производного предлога *первее*. Измерение времени от говорящего при значении ‘позавчера’ остается, в «Слове» же имеется в виду измерение времени от объективного события: ‘**на** третий день’.

«Трудно представить себе, — читаем далее [Зализняк-1, с. 293], — более эффективный способ скомпрометировать работу лингвистов. Тут безосновательно почти все». Формулировки К. Троста, вопреки А. А. Зализняку, достаточно ясны: наши славянские генитивы времени не претерпели прямого влияния греческого генитива времени. Поэтому «бесчисленные» *того же*

<sup>1</sup> Здесь уже виден межкультурный конфликт. Метафора войны, вполне обычная для англо-американской и германской культуры, которую подробно разбирает Лакофф, нами не принимается или понимается неправильно.

*лѣта, сего же мѣсяца, тоя зимы, върьбноѣ недѣльѣ*, разумеется, считаются как Тростом, так и Залиняком, исконными славянскими конструкциями, но они не объясняют появления в «Слове» *другаго дни, третьяго дни*.

Можно согласиться только с тем, что *сего дъне* невозможно вывести из *до сего дъне*, но и Трост высказывает мысль о простом отпадении предлога *до* предположительно. Здесь (и только здесь!) немецкий ученый, действительно, не прав. Калькированный характер выражения *третьяго дни* остался неопровергнутым.

В целом статьи К. Троста [Trost, 1974, 1980, 1981] представляют собой лишь первые опыты введения «Слова» в круг литературных произведений XVIII века. Направлению исследования, заданному немецким ученым, несомненно, следует придерживаться. И точно так же, как гипотеза происхождения «Слова» в XII веке помогла нам открыть нашу древнюю словесность, гипотеза происхождения «Слова» в конце XVIII века поможет нам более глубоко и всесторонне изучить нашу блестящую словесность Екатерининской эпохи.

### 3. 2. О работе Р. Айтцетмюллера

Покойный Р. Айтцетмюллер поддержал К. Троста и предложил анализ полонизмов и именного склонения в «Слове». Случай с Л. А. Булаховским типичен для добросовестных советских и постсоветских русских исследователей «Слова»: при объективном и точном описании фактов делать выводы (не самостоятельно приходить к таковым, а именно делать), принимаемые и приветствуемые текущей конъюнктурой. Интерполяция приставочного производного от бесприставочного регионального производящего XVII века в век XII («в этом случае *въсрожатъ* могло стоять уже в первоначальном тексте» [Зализняк-1, с. 299] антиисторично и возможно только ввиду применения полихронической методики, изолированной от истории языка. Приращение версии Л. А. Булаховского с уточнениями Р. Айтцетмюллера можно объяснить только как желание оставить «темное место» «темным» навсегда. Но это противоречит профессиональной задаче ученого.

В небольшой статье Р. Айтцетмюллера об именном склонении [Aitzetmüller, 1992] этические нормы не нарушаются, хотя в книге читаем о «пренебрежительном и высокомерном тоне» немецкого коллеги. Возможно, имеется в виду заключение: «Diese Beispiele dürften genügen. Wenn Anhänger der Echtheitstheorie sie nicht widerlegen können, sondern weiterhin ihrer Meinung anhängen, trotz der Arbeiten von Trost und Hendlер, die mit Vorausgehendem eine Einheit bilden, dann bleibt nur die Feststellung, daß Glaube irrational ist» [Ibid., с. 117]. Оно переведено следующим образом: «Этих примеров, пожалуй, достаточно. Если приверженцы теории подлинности не могут их опровергнуть и тем не менее продолжают держаться своего мнения, несмотря на работы Троста и Хендлера, которые образуют единство с вышесказанным, то остается лишь признать, что вера иррациональна» [Зализняк-1, 337].

Упоминания «Задонщины» у Айтцетмюллера нет, поскольку относительно Кирилло-Белозерского списка возникает особый вопрос об оформлении тех же окончаний. Уже само по себе упоминание «тех, кто представляет себе написание СПИ как фарс, устроенный каким-то литературным Хлестаковым на спор с приятелями за один вечер» [Зализняк-1, с. 331] напоминает спор не с

реальными, а с воображаемыми оппонентами. «Слово» — труднейшее во всех отношениях произведение, работа над ним, по разным косвенным признакам, велась, вероятно, не менее 5–6 лет и, судя по всему, несколькими одаренными поэтами, писателями и историками во главе с императрицей Екатериной II. Поэтому, в силу давней недооценки труда возможных составителей «Слова» в конце XVIII в., требовалось бы пофамильно назвать этих «тех», а также обстоятельства, в которых они позволили себе такую (недо)оценку.

К сожалению, пытаюсь опровергнуть Р. Айтцетмюллера, А. А. Зализняка не привлекает результаты тщательного анализа лексическо-стилистически обусловленной реализации системы именного склонения в тех псковских памятниках, с которыми он сопоставляет именные окончания в «Слове», как это сделано, например, в [Тот]. И. Тот учитывает сохранение архаизмов и условия появления инноваций, сравнивая эти процессы с общерусской картиной. «Слово» в эту картину не вписывается. Так, по И. Тоту, во всех списках Псковской летописи, в том числе Строевском, в М. п. ед. ч. имен существительных типа скл. на *\*-jā* преобладает старое окончание *-и*. В «Слове» же наблюдаем современное окончание: *въ грядницѣ Святъславли*. Ср. также современную флексию М. п. *-ѣ* в именах от других основ: *вльци въ полѣ, въ полѣ незнаемѣ, и въ морѣ погружиста, стоять стязи въ Путивлѣ, на полѣ незнаемѣ, плачеть въ Путивлѣ (2 р.), лелѣючи корабли на синѣ морѣ, въ полѣ безводнѣ, птици бити въ полѣ Половецкомѣ; въ градѣ Тьмутороканѣ, смагу мычючи въ пламянѣ розѣ, на жестоуцѣмъ его тѣлѣ, свѣтитъ на небесѣ*. Нами найдено в «Слове» только два случая сохранения архаической флексии существительных в М. п. ед. ч. *-и*, оба — в финале: *Игорь Князь въ Руской земли. Дѣвци поютъ на Дунаи*. Из них — только один случай исконного типа скл. на *\*-jā*, но и этот вариант *земли* известен светской поэзии XVIII века. Напротив, в В. п. мн. ч. типа скл. на *\*-jā* после *-ц-* в Строевском списке преобладает уже *-ы*, в «Слове» же встречаем: *и Половци сулицы своя повръгоща*, при отсутствии в В. п. мн. ч. основ на *\*-jā* *-ц-ы-*.

При критике словоформы *прикръвены*, ожидаемой в XII в. вместо *прикрыты* [Дмитриев, 1960, с. 332], берутся примеры с другими приставками. Мы замечаем даже дополнительное распределение: *при-* для *-в-ен-* и *по-*, *от-* — для *-т-*; для приставки *съ-* возможны оба варианта страдательных причастий прош. времени. «Такова цена деклараций» в самой книге «о том, что было и чего не было в древнерусском языке XII века» [Зализняк-1, с. 332]. Примеры, действительно, ценные, но молчаливо признается, что приставка не играет никакой роли.

Материалы А. А. Зализняка *Хинове* (И-1) и *Хиновя* (У) в Задонщине против *Хинова* в «Слове» прямо свидетельствуют в пользу версии «после Задонщины». Сказано прямо: «Трактовка *Хинова* как замены для *Хинове*...» [Зализняк-1, с. 333], то есть более раннее в «Задонщине» заменено на более позднее в «Слове».

Что касается глагола *стонати*, то его формы и без приставок появляются в XV в., к тому же в тексте, связанном с СоПИ, ср. по НКРЯ: «И в то врѣмя, братѣ, земля *стонеть* велми, грозу велику подаваючи на встокъ нолны до моря, а на запад до Дунаа, великое же то поле Куликово прегигающеся, рѣкы же выступаху из мѣсть своихъ, яко николиже быти толиким людем на мѣсть томъ». [Сказание о Мамаевом побоище (1400–1425)] Мы полагаем, что здесь

прав А. А. Зализняк, а не Р. Айтцетмюллер. Все-таки нельзя исключать не только того, что морфологическое оформление глагола «просто принадлежало оригиналу», но и того, что оно сложено по образцу «Сказания о Мамаевом побоище». Ошибки *Русской земли, стонуту* принадлежат, действительно, Р. Айтцетмюллеру.

Разночтения 1560-х гг. = сер. XVII в. *великаа врата каменаа = великия врата каменные, котори их = которьи их, котории = которые* [Зализняк-1, с. 340] показывают естественное движение к церковно-славянской и современной русской (гражданской) норме. Их можно использовать и как аргумент в пользу «после Задонщины», ведь окончания *-ья* и *-ьи* типичны для СоПИ, а это инновации для сер. XVII в. — времени кодификации церковно-славянской нормы.

В рассуждении о *приламат* [Зализняк-1, с. 341] вновь игнорируется приставка. Приставка *при-* — особое изобразительное средство в «Слове»: *прикрыти, прикрывають, прихождаху, притрепetail (и притрепа, притрепань), притопта, припъшали, пригвоздити* и даже имя *припъвка*.

Итак, назвать «ошибочными» все аргументы Айтцетмюллера никак невозможно. Их необходимо дорабатывать, это правда, но сама эта доработка не способствует их опровержению.

### 3.3. Работа М. Хендлера о глаголах в «Слове»

Анализируя работу М. Хендлера о глаголах [Hendler, 1977], А. А. Зализняк вновь называет «Слово» в интерпретации М. Хендлера «подделкой» — фальсификатом. Приходится категорически возражать против объединения точек зрения подделки и художественно-научной реконструкции. Считаем, что в случае версии позднего происхождения «Слова» следует говорить не о подделке древнего памятника (такого памятника просто не было), а о высокохудожественном произведении XVIII в. на древнерусском языке.

В своей работе об употреблении глагола в «Слове» М. Хендлер не поясняет, имеет ли он в виду под «Дательным с инфинитивом» также и независимый инфинитив *Игорева храброго плъку не крѣсити* (никому). Это недостаток, но не ошибка. Договорную грамоту Юр. С Мих. Яр. И Новг. 1318 г. (*А гости всякому гостити безъ рубежа, а ворота ти отворити, а хлеб ти пустити*) Хендлер переводит как *Aber Gäste sind gänzlich ohne Maß zu Besuch, und deine Türen stehen offen, und dein Brot verläuft (verschwindet)*. Немецкий глагол *verlaufen* имеет значение 'расходиться, рассеиваться'. В скобках дано толкование: 'исчезать'. А. А. Зализняк дает перевод древнерусского предложения: «А хлеб ты должен разрешить вывозить», — и противопоставляет его своему же, как ему кажется, правильному переводу немецкой фразы: «А твой хлеб кончается, пропадает». Получается нечто вроде игры в «испорченный телефон»: по смыслу передается древнерусский текст современными русскими средствами вполне приемлемо, так же приемлемо — по-немецки, но потом в этот немецкий текст вкладывается иное содержание, и оно-то выдается за его смысл, будто бы уже не совпадающий с древнерусским, а потому ошибочный. «Разрешить вывозить» хлеб как раз и означает, что он будет расходиться. Идеи «прекращаться, кончаться» в немецкой фразе нет. Древнерусский контекст понят верно. Смысл приводимого Хендлером фрагмента грамоты в том, чтобы показать, что в «Слове» в случае *Грозы твоя*

по землямъ текутъ; *отворяеши Киеву врата* выделенный приставочный глагол с многократным значением, прочно занявший позицию современной грамемы русского несовершенного вида на завершающей стадии формирования этой новой глагольной категории, не мог образоваться до XVIII века. Эту же идею выразили бы формой довидовой *\*отвориши*, как в 1318 году.

Более того, смеем предположить, что, как это ни парадоксально, современный немец гораздо лучше понимает древний русский глагол, нежели современный русский (но только глагол!). У нас в последние шесть веков стремительно развивается новая категория русского глагольного вида, затрагивающая нашу ментальность, и мы уже невольно переносим новое состояние дел на древнейшие эпохи. Немецкие коллеги этой помехи лишены и способны «ставить эксперимент» более чисто.

Так, по нашему мнению, критика А. А. Зализняком с помощью словаря В. И. Даля разбора глагола *припгшиать* в статье Р. Хендлера достигает цели Хендлера еще более эффективно, чем это удастся самому немецкому ученому. Если даже производный приставочный глагол с бывшим итеративным суффиксом *-а-* считается глаголом совершенного вида, то в древности и даже накануне XVIII века он возникнуть не мог. Вся конфиксальная модель *о-...-а-плохой — оплошать, нищий — обнищать, пеший — опешать* (*опешить* только фонетически можно оправдать как вторичный вариант, морфологически это первичный вариант), можно сказать, складывается на наших глазах. Но что касается модели *\*пеший — припешать*, то она, как кажется, «сложилась» только вokkaционализме СоПИ.

Полагаем, что в императиве *седлай* Хендлер совершенно справедливо увидел инновацию, которая, однако, уже имеется в Задонщине. Образование глагола *оседлати* связано со сложением конфиксальной модели *седло — о-седл-а-ти*, поэтому лексема *седлати* появилась в языке позже и по другой модели. Следовательно, не только механическое отсутствие в древних текстах, но и отыменное глагольное словообразование противоречит глубокой древности глагола *седлати*.

Мы считаем также неубедительным следующее утверждение: «Но автор статьи [Р. Хендлер] не чувствует той разницы, что немаркированное (так!?) *оседлай коней* выражает лишь желание говорящего, чтобы кони были оседланы, а *седлай коней* — это приглашение начать собираться в поход» [Зализняк-1, с. 309]. Здесь слишком «однозначно» и неисторично описана прагматика употребления русских императивов, которая быстро меняется в зависимости от времени и обстановки произнесения. С оттенком приглашения в современном русском языке употребляются императивы от глаголов несов. вида: *проходите, садитесь, кушайте на здоровье!* Приглашение соответствует (или пытается соответствовать) желанию слушающего. Такая прагматика развилась со временем, поскольку традиционные военные команды *Седлай коней! Пли! Ложись!* — это не приглашения, и их обязательность исполнения выражается переносом не по виду, а по числу — единственному на множественное. Сейчас они остаются изолированными фразеологическими структурами. Императив совершенного вида, напротив, обозначает решительную просьбу, часто не соответствующую субъективному желанию слушающего: *заплатите налоги, сдайте экзамен, откройте рот* (у зубного врача)! и т. п. «Желание» говорящего немаркированной когда-то в дописьменные времена

бесприставочной формой, действительно, выражалось раннепраславянским опплативом, из которого и произошло современное повелительное наклонение. В случае оценки значения формы *оседлай* как желания не выполняется требование полихронического метода не допускать смешения временных пластов. Прием применения функциональной (прагматической) характеристики дописьменной эпохи к новейшим формам можно назвать «ахроническим», не предусмотренным В. К. Журавлевым в его классификации подходов к языку. Этот подход еще дальше от диахронического, учитывающего фактор времени и фактор причинности, чем полихронический, условно учитывающий фактор времени и не учитывающий, по В. К. Журавлеву, фактор причинности.

На с. 310 разбирается глагол *ступаетъ* в контексте *Были въчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плѣци Олговы, Ольга Святъславличя. Тѣй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше, и стрѣлы по земли стѣяше. Ступаетъ въ златъ стремя въ градъ Тьмутороканъ*. Глагол появляется после двух имперфектов, следовательно, имеет значение настоящего исторического однократного. Хендлеру предъявляется претензия, что у него нет никакого «реального материала». НКРЯ в среднерусском подкорпусе по запросам «*ступаетъ*», «*ступаетъ*» ничего не дает. По запросу «*ступати*» подкорпус дает четыре примера с многократным значением, что показывает правоту немецкого ученого и невозможность обнаружить даже в XV–XVII вв. процессуального значения.

Обильный материал древнейших приставочных глаголов на *-ива-/-ыва-ва-* [Зализняк-1, с. 312–314] показывает, что все приведенные производные глаголы развили переходность (кроме *приеждивахуть* и, возможно, *управливаше*), либо, в случае употребления с частицей *ся*, стали в силу этого непереходными. Налицо зависимость внешней синтаксической формы от внутреннего характера основы: новые основы на *—ива-/-ыва-* способствуют развитию переходности, следовательно, непереходный глагол *посвъчивая*, действительно, не может быть древним. Такой лексемы нет ни в словарях, ни в НКРЯ.

Мы не нашли на с. 129 статьи Хендлера наречия ‘только’, которое ему приписывается: «Утверждение Хендлера, что СПИ сближается только с агиографическими произведениями, полностью провалилось» [Зализняк-1, с. 316]. Представим, что «провалилось» в приведенной цитате слово «только». Она теряет всякий смысл. Теряет смысл и аннулирование выводов Хендлера.

Даже в лексикализованных случаях *хотя, зря, молвя, милостыню творя* позднейшие переписчики иногда вновь согласуют эти причастия по мн. ч. [Зализняк-1, с. 317]. Этого обстоятельства совершенно недостаточно, чтобы опровергнуть наблюдения Хендлера (и многих других ученых до него) о современной системе деепричастий в «Слове». Рассуждение о *молвя* и *звоня* отклоняется принципом «обратное неверно». Архаические примеры, совпадающие по модели образования с новейшими, вне системы утрачивают свою ценность.

Полемика о старославянском имперфекте [Зализняк-1, с. 319–320] становится совершенно непонятной ввиду главенствовавшего до недавнего времени в науке об истории русского языка мнения, что имперфект либо очень рано (к XII веку) исчез из русского языка, либо вообще в нем не появлялся, тогда как в старославянском и южнославянских языках он хорошо развился.

Впрочем, такая новая постановка вопроса не может не радовать, и Хендлера можно было бы попрекнуть только в слишком доверчивом отношении к литературе об истории простых прошедших времен в русском языке. Ошибается он, действительно, и в прямом переносе числа объектов действия (внешняя характеристика) на его кратность (внутренняя характеристика).

Сдвиг замены пары *меркнути*: *мерцати* на *померкнути* : *меркнути* в более древнее время принципиально оценку становления видового противопоставления в русском языке не меняет. Приводятся только ранние примеры на замену *меркнути* ← *померкнути* (первый шаг сдвига пары), но совершенно не приводятся пары на замену *мерцати* ← *меркнути* или хотя бы употребление *меркнути* в имперфективном значении, как в «Слове». Хендлер остается непровергнутым. К контексту с глаголом *мьркнути* в «Слове» имеется параллель в одной из военных од уже упоминавшегося нами стихотворца Екатерины II В. П. Петрова: «Вдругъ громъ ужасный умолкаетъ, // Печальна тихость настаетъ, // Мгла градъ и Россовъ оболкаетъ, // Осадѣ ужась придаеть» (Ода «На взятие Измаила. Декабря 11 дня 1790 года» [Петров, 1811, ч. I, с. 77]). — Ср. в «Слове»: «Дльго. Ночь мркнетъ, заря свѣтъ запала, мьгла поля покрыла» [Дмитриев, 1960, с. 259]. Если считать, что и у В. П. Петрова, и в «Слове» описано наступление ночи после первого дня битвы (а не рассвет), то и там, и там видно использование так называемого исторического презенса (*Praesens historicum*) от глаголов несов. вида, что придает рассказу о сражении иллюзию участия песнопевца в описываемых им событиях, делает из поэта воображаемого очевидца описываемых событий. Однако в «Слове» при описании наступления ночной мглы парадоксальным образом используется самая простая русская лексика, в то время как В. Петров, работая в другом жанре, в соответствии с высоким стилем оды, употребляет более архаическую по происхождению лексику — церковнославянизмы *градъ*, *Россы*, *оболкать*. Вместо последнего, действительно итеративного архаического глагола, употреблен глагол несов. вида *меркнути* в таком же временном значении. Тут как раз происходит описанное К. Тростом изгнание (*Zurückdrängung*) из «Слова» церковнославянизмов, которые так любит В. П. Петров и которые так не любит и по возможности отторгает Н. М. Карамзин в своих ранних произведениях. Этот пример показывает, что версия немецких коллег нуждается в существенной корректировке после сопоставления с более широким кругом литературных произведений XVIII в.

### 3.4. Вместо заключения

Языковой материал обладает тем свойством, что сам по себе, помимо воли участников полемики, поддерживает одного из них. Поэтому возможно более полный перечень примеров не только желателен, но и необходим в случае столкновения точек зрения. К счастью, эта необходимость в данном случае соблюдена, и это делает книгу А. А. Зализняка очень полезной и плодотворной для дальнейших разысканий не только в отношении частного вопроса о «Слове», но и в отношении методов русского исторического языкознания.

Итак, книга А. А. Зализняка — это новый поворот в изучении «Слова о полку Игореве». Она призывает рассматривать вопрос о времени происхождения этого произведения беспристрастно, формулирует две позиции: «до Задонщины» и «после Задонщины». Развивается первая версия. По-

лихронический анализ морфологических форм и позиций слов (частиц) в предложении приводит к подтверждению заявленной Мусиным-Пушкиным датировки публикуемого произведения. Но привлечение функционально-семантических характеристик, учет лексико-стилистических и словообразовательных ограничений известных исторических процессов в морфологии, культурно-символических и образных особенностей «Слова», наконец, сопоставление с литературным фоном второй половины XVIII в., диахронический метод и последовательный полный историко-языковедческий подход позволяют развить и версию «после Задонщины». К сожалению, в книге А. А. Зализняка встречаются лишь недокументированные предположения (а не доказательства) существования форм ранее их фиксации памятниками письменности или современными говорами или приводятся приблизительно такие же формы, но с другими приставками, или другие морфологические формы и т. п., а вполне реальные доводы зарубежных коллег не всегда обоснованно отклоняются.

Несмотря на ряд принципиальных возражений, возникающих при знакомстве с книгой А. А. Зализняка, мы согласны в главном: невозможно исходить из якобы известного утверждения, что «Слово» написано в XII веке. Такое исходное утверждение ошибочно. Необходимо рассматривать обе точки зрения. И если до конца XX в. мощной силой, стимулирующей развитие русского исторического языкознания была гипотеза «до Задонщины», то сейчас, особенно в связи с быстрым компьютерным поиском больших массивов эмпирического материала, своеобразным катализатором будущих лингвистических исследований становится гипотеза «после Задонщины».

Мысль, высказанная в заключение статьи Айтцетмюллера об иррациональности веры (см. выше), не нова. В более грубой и доходчивой форме она выражена нашим прославленным историком: «Басни правость потемняют» [Татищев, 1962–1968, т. I, с. 81]. Если, не разобрав более тщательно и научно-критически не опровергнув труды наших зарубежных коллег, мы будем настаивать на приятной нам иллюзии, отечественное русское историческое языкознание сильно пострадает и перестанет развиваться в свободной атмосфере состязательности школ и направлений. Вопрос о текстологических сближениях «Слова» с произведениями 1780–1790-х гг., так же как и вопрос о времени происхождения текста этого, без сомнения, величайшего произведения русской словесности, остается открытым и требует дальнейшего исследования самыми разнообразными лингвистическими, филологическими и историческими методами.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Aitzetmüller R.* Zum Nominalgebrauch im Igorlied // *Anzeiger für slavische Philologie*, XXI. 1992. S. 109–117.
2. *Breillard 2006.* Breillard J. Zalijnjak Andrej Anatol'evič, Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста, Moskva, Jazyki slavjanskoj kul'tury (Studia philologica, series minor), 2004, 352 pages // *Revue des études slaves*, 2006, vol. 77, № 77–1–2. P. 288–293.
3. *Florine ou la belle Italienne.* Nouveau Conte de Fées. Paris, 1713.
4. *Hendler M.* Verbalgebrauch im Igorlied // *Anzeiger für slavische Philologie*. IX/1. 1977. S. 103–159.
5. *Léger L.* La Mythologie slave. Paris, 1901.

6. *Mazon A.* Le Slovo d'Igor: le sujet et le cadre; le modèle principal // Revue des études slaves, 1938, vol. 18, № 3-4. P. 163-213.

7. *Moser M.* Sind der "Relativisator" to und die Syntax anderer Enklitika als klare Beweise für die Authentizität des Igorlieds zu werten? // Studia Slavica Hung. 50/3-4 (2005). S. 267-282.

8. *Trost K.* Zur literarischen Polemik im Igorlied und im Karamzins Il'ja Muromec (unter Berücksichtigung der Zadonščina). Ein Beitrag zur Frage einer Igorlied-Autorschaft N. M. Karamzins // Festschrift für Linda Sadnik zum 70. Geburtstag. Freibzrg i. Br., 1981 [= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. T. XV].

9. *Trost K.* Entwicklung und Stand der Kontroverse um die Echtheit des Igorliedes. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. // Slavica Aenipontana 3. Innsbruck, 1980.

10. *Trost K.* Karamzin und das Igorlied. Ein Beitrag zur Kontroverse um die Echtheit des Igorlieds // Anzeiger für Slavische Philologie VII, 1974, S. 128-145.

11. *Unbegaun B.* Les Rusiči / Rusici du Slovo d'Igor // Revue des études slaves. V. XVIII. P., 1938. P. 79-80.

12. *Wackernagel J.* Über ein Gesetz der Indogermanischen Wortstellung // Indogermanische Forschungen, I, 1892. S. 333-436.

13. *Бобров А. Г.* Заколдованный круг (о книге А. А. Зимина «Слово о полку Игореве») // Русская литература. 2008, №3. С. 65-118.

14. *Бобров А. Г.* Проблема подлинности «Слова о полку Игореве» и Ефросин Белозерский // Acta Slavica Iaponica. Sapporo, 2005. T. 22. P. 238-298.

15. *Виноградов В. В.* История русского литературного языка в изображении академика А. А. Шахматова // Filološki pregled. Knj. 2, sv. 3-4. Beograd, 1964. С. 65-88 (перепечатано в книге: Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978. С. 216-236).

16. *Власов С. В.* Некоторые материалы к опыту сравнительного анализа военных образов в «Слове о полку Игореве» и в оде В. П. Петрова «На взятие Измаила» (1790) // Язык и социальная динамика. Материалы Всероссийской Научно-практической конференции с международным участием (2014 г., Красноярск). Красноярск, 2014. — в печати.

17. *Власов С. В., Демидов Д. Г.* О соотношении Екатерининской копии «Слова о полку Игореве» и других сопутствующих материалов из архива Екатерины II // Русская историческая лексикология и лексикография, вып. 9. СПб.: изд-во Филологического факультета СПбГУ. — в печати.

18. Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост. Е. А. Кузьмина. М., 2000.

19. *Дмитриев Л. А.* История первого издания «Слова о полку Игореве». М.-Л., 1960.

20. *Евгений*, митрополит (Болховитинов). Письмо к К. Ф. Калайдовичу от 18 января 1814 г. // Сын Отечества. Т. 8. СПб., 1839. Раздел VI. Известия и смесь.

21. *Екатерина II.* Записки касательно Российской Истории // Собеседник любителей русского слова. Часть 12. СПб., 1783. (Екатерина II — 1)

22. *Екатерина II.* Подражание Шакеспиру. Историческое представление [...] изъ жизни Рюрика. Вновь изданное съ примъчаниями Генераль Маіора И. Болтина. СПб., 1792. (Екатерина II — 2)

23. *Зализняк А. А.* «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. 3-е изд. М., 2008. (Зализняк-1).

24. *Зализняк А. А.* Древнерусские энклитики. М., 2008. (Зализняк-2).

25. *Зимин А. А.* Слово о полку Игореве. СПб., 2006.

26. Ипатьевская летопись: [Электронный ресурс] URL: <http://krotov.info/acts/12/pvl/ipat01.htm> (Дата обращения: 15 окт. 2013 г.). (Ип. Л.)

27. *Кисиллер М. Л.* Закон Ваккернагеля в позднем койне (На материале «Луга духовного» Иоанна Мосха) // Язык и речевая деятельность, № 6 (2003) 2006. С. 122-140.

28. Козлов В. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве». М., 1988.
29. Колесов В. В. Историческая грамматика русского языка. СПб., 2009.
30. Лихачев Д. С. История подготовки текста «Слова о полку Игореве» к печати в конце XVIII в. // «Слово о полку Игореве и культура его времени. Л., 1978 [1-е изд. Статьи — ТОДРЛ, т. XIII. Л., 1957]. С. 237-277.
31. Моисеева Г. Н. «Слово о полку Игореве» и Екатерина II // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 3–30.
32. Момина М. А. О приставочных и бесприставочных вариантах в переводном тексте традиционного содержания // Проблемы исторического языкознания. Вып. 2. История русского языка. Среднерусский период. Л., 1982. С. 111-124.
33. Мусин-Пушкин А. И. Письмо к К. Ф. Калайдовичу от 18 января 1814 г. // РНБ, ф. 588 (Погодинские автографы), № 278, л. 5–6.
34. Олядыкова Л. Б., Бурькин А. А. «Слово о полку Игореве»: Современные проблемы филологического изучения. Исследования и статьи. Реконструкция древнерусского текста, перевод, комментарии. Элиста, 2012.
35. Пекарский П. П. Слово о полку Игореве по списку, найденному между бумагами императрицы Екатерины II // Записки Императорской Академии Наук. Том пятый. Приложение № 2. СПб., 1864.
36. Петерсон М. Н. Синтаксис «Слова о полку Игореве» // *Slavia. Časopis slovanskou filologii. Ročník XIV. Sešit 4.* С. 5476–592.
37. Петров В. П. Сочинения. Часть I–III. Издание второе. СПб., 1811.
38. Прохоров Г. М. Снова подозревается Карамзин: (Еще одна гипотеза об авторе «Слова о полку Игореве») // Русская литература. 1975. № 3. С. 235–239.
39. Симони П. К. Текст Слова о полку Игореве по списку, хранящемуся в бумагах Имп. Екатерины II в Ст.-Петербур. Госуд. Архиве Мин. Ин. Дел, с присовокуплением различных сведений о Переводе, Примечаниях и Содержании Слова, к нему присоединенных // Древности Моск. Археол. Об-ва. М., 1890. Т. 13. С. 16–46.
40. Ситовский В. В. Очерки из истории русского романа. Том I, выпуск 2-й (XVIII век). СПб., 1910.
41. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Вып. 1–6. Л., 1965–1984.
42. Сравнительный Словарь всъхъ языковъ и нарѣчій, по азбучному порядку расположенный. Часть I–IV. СПб., тип. Брейткопфа, 1790 — 1791. [В первом издании словарь имел другую структуру и несколько другое название: «Сравнительные Словари всъхъ языковъ и нарѣчій, собранные десницею Всевысочайшей Особы». Часть I–II. СПб., тип. Шнора, 1787 (часть I) – 1789 (часть II)].
43. Стефан Яворский «Слово в Неделю осмуонадесять по Святомъ Дусѣ» // митр. Стефан Яворский Проповеди. ЧЧ. 1–3. М., 1804-1805. Ч. 2. М., 1804. С. 77–95.
44. Татищев В. Н. История Российская. ТТ. I–VII. М.-Л., 1962–1968.
45. Тот И. Х. К функции падежных флексий имен существительных —а/-ја-основ (на материале Псковских летописей) // Проблемы исторического языкознания. Вып. 2. История русского языка. Среднерусский период. Л., 1982. С. 79–103.
46. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1–5. СПб., 1995.
47. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953.

Поступила в редакцию 15.07.2014

А. М. КАМЧАТНОВ

## СОБЛАЗН Историко-семасиологический этюд

В. В. Колесову

В статье критически исследованы переводы греческого слова *σκάνδαλον* и его производных в разных русских версиях Нового завета и рассмотрены последствия рационализации символического языка священного Писания.

*Ключевые слова:* Новый завет, перевод, *σκάνδαλον*, соблазн, образ, символ, понятие.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Эти слова Пушкина всякий раз приходят на ум, когда читаешь статьи и книги профессора Владимира Викторовича Колесова — следить за ходом его мысли и поучительно, потому что это научная школа высшей пробы, и занимательно, потому что захватывает мысль и движет ее дальше.

В этой статье в качестве приношения коллеге, отметившему недавно 80-летний юбилей, мне хотелось бы дополнить и развить некоторые его мысли относительно базовых ментальных категорий образа, символа и понятия, ибо воплощенное в слове родного языка сознание в разные периоды его исторического существования является темой, в исследовании которой В. В. Колесовым достигнуты наиболее впечатляющие результаты.

Отправной точкой послужат для нас следующие высказывания В. В. Колесова: «Между действием системы образов и действием понятийной системы находится время развития символа — образного понятия. Тогда создавалось положение, при котором в художественном тексте возникала возможность посредством знакомого образа истолковать культурный символ и тем самым п о н я т ь смысл символа, *пре-образ-уя* его в понятие». И далее: «То, что прежде передавалось словом как природные проявления т е л а — в образе-представлении о нем, — стало восприниматься как нравственные требования д у х а — в символическом понимании того же. *Вина* как ошибка в действии стала проявлением виновности; *грѣхъ* как сердечный жар стал обозначением греховности, и т. д. Этические воззрения суть процессы преобразования символических образов в понятия» [Колесов, 2011, с. 123].

Процесс преобразования физического образа в символ для выражения понятия и все проистекающие отсюда следствия для культуры и языка можно

проследить на примере слова *соблазн*. Материалом для последующих рассуждений послужат переводы Евангелий на славянский и русский языки, а также некоторые тексты более позднего времени.

Согласно «Церковному словарю» П. Алексева, *соблазн* «собственно значить претыканіе на пути, отъ чего человекъ иногда упадаетъ [Псал., 48: 14], въ Св. Писаніи наипаче пріемлется за духовное преткновение, за петлю или сѣть, то есть за такія вещи, кои насъ на пути жизни вѣчныя могутъ нѣсколько остановить, и вовсе препятствовать ко спасенію [Рим., 14: 13]; а въ книгѣ великаго Василія о скитахъ, т. е. о пустынножительствахъ, *соблазнъ* есть то, что отводитъ человекъ отъ истины, благочестія къ отступству или заблужденію, или способствуетъ къ назиданію нечестія, или что возбраняетъ повиноваться закону Божию, индѣ значить ересь [Матѣ, 18: 7]» [Алексеев, 1816, 3, 68–69].

Этимологически слово *соблазн* является довольно темным. Согласно наиболее достоверной версии, *соблазн* представляет собой префиксальное образование от праслав. причастия среднего залога *\*blaznъ*, которое было образовано от основы *\*blaz-* с помощью суф. *-n-*. «В отношении этимологии наиболее удачно объяснение из и.-е. *\*bhlag-*, откуда также лат. *flag-rum* ‘бич’» [ЭССЯ, 1980, 2, 106]. Следовательно, будучи причастием среднего залога, *соблазн* номатически означает не ‘ударяющий’ и не ‘ударенный’, а ‘закрывающий в себе угрозу удара’, например, ‘капкан’. Таким образом, физически *соблазн* представлял собой нечто вроде капкана, ловушки, сети, в которые закладывалась приманка и куда мог угодить неосторожный зверь. Однако, согласно данным доступных словарей, ни в говорах, ни в памятниках письменности слово *соблазн* в значении ‘капкан, ловушка’ в русском языке не употреблялось; вероятно, оно все-таки употреблялось, но в столь отдаленные времена, что никаких следов по себе уже не оставило. Тем более следует удивляться проницательности П. Алексева, который в своем толковании уподобил *соблазн* сети или петле, которыми уловляется и останавливается на пути спасения человек. Причиной утраты этого значения стало то, что оно послужило образом для символического понимания тех нравственных препятствий, которые стоят на пути человека к спасению и могут ввести его в грех.

Понятия *соблазна* и греха соответствуют друг другу как причина и следствие, но без жесткой необходимости, ибо между ними стоит свободная воля человека. В. В. Колесов, говоря о *грѣхъ* как сердечном жаре, придерживается традиционной этимологии, то есть возводит к праслав. *\*grěti*. Она была убедительно оспорена О. Н. Трубачевым, который пишет, что «гипотеза о развитии значения ‘грех’ из первоначального ‘жжет совесть’ есть не что иное, как подстановка христианского значения на место первобытного, что невозможно для слова праслав., т. е. еще дохристианского. <...> Семантика производного *\*grěšiti* — ‘промахиваться, не попадать прямо’, ‘думать неверно (о ком-либо)’ — помогает выбрать другую этимологию для слова *\*grěxъ* из числа выдвигавшихся ранее, а именно — от основы со знач. кривизны *\*groi-so-*, ср. лтш. *grėizs* ‘кривой’» [ЭССЯ, 7, 115–116].

Итак, вначале мы имеем образ ловушки, капкана с приманкой и образ зверя, который, будучи приманенным запахом добычи, делает неверный шаг, буквально грешит и попадает в ловушку; не достигнув цели, он сам становится целью того, кто поставил капкан.

Этот образ становится символом искушения, побуждающего человека совершить неверный поступок в нравственной сфере: тут тоже есть нечто сладостное (= соблазн), что приманивает человека и совращает его с праведного (= правильного) пути, побуждает его сделать неверный шаг (= согрешить); не достигнув цели спасения, он сам делается добычей враждебной силы.

Нет сомнения в том, что слово *соблазн* как символ, как образное понятие возникло в переводных христианских текстах, прежде всего в текстах Нового завета. Здесь это слово, как и производный глагол *соблазнять*, стали эквивалентом греч. σκάνδαλον, σκανδαλίζω. Слово σκάνδαλον родственно санскр. *skandati* ‘подскакивать, подпрыгивать, брызгать’, *a-skandati* ‘нападать, застигать’, лат. *scando* ‘восходить, подниматься, взлетать’ [Boisacq, 1938, с. 870]. Из этого следует, что этимологически слово σκάνδαλον значит ‘нечто подскакивающее, подпрыгивающее’. С этой нозмой в греческом языке был отождествлен эйдос капкана, ловушки, западни, d. Falle [Bauer, 1988, s. 1505], который сам стал нозмой эйдоса чего-то побуждающего к греху, отпадению, отречению [Ibid, s. 1505], чего-то побуждающего к греху или вводящего кого-то в грех [Louw & Nida, 1989, I, p. 775].

Примеры употребления слов σκάνδαλον, σκανδαλίζω в Новом завете многочисленны, приведем некоторые из них.

Когда Петр стал уговаривать Спасителя не идти в Иерусалим, где Ему должно было «много пострадать от старейшин и первосвященников», то Христос сказал ему: *иди за мною и жетоно съблазнъ ми еси. ꙗко не мгыслиши ꙗже съхътъ въиѣ и члѣскаѣ* [Мф., 16: 23]. В этом случае именование Петра словами σκάνδαλον — *съблазнъ* выражает одно и то же понимание: Петр — искушение для Иисуса, понуждающее Его отступить от исполнения мессианской роли, предпочесть царство земное Царствию Небесному (почему Петр назван еще и сатаной). Если Петр понимается как соблазн, а соблазн понимается как обман, ловушка, значит и Петр понимается еще и как обман. Христос не сказал: «Отойди от Меня, Петр!», а сказал: «Отойди от Меня, Сатана!», то есть обратился не к Петру, а к тому духу, который говорил через Петра и который некогда искушал Христа в пустыне царствами земными; и тогда и теперь Иисус отвечает одинаково: «Отойди от Меня, Сатана!». Слово *съблазнъ* и обращение *сотоно* связывают эти два искушения. Иначе говоря, мы имеем здесь дело с подтекстом, поскольку слово *съблазнъ* имеет не только явный смысл, понятный ап. Петру, но и сокровенный, эзотерический смысл, понятный духу злобы; на наличие такого смысла указывает обращение *сатана!* и повтор фразы *ѡπαυε, σατανά*, сказанной диаволу в пустыне [Мф., 4; 10].

Во всей последующей славянской библейской традиции вплоть до русского синодального перевода в этом чтении употребляется слово *съблазнъ*, однако в древнейших старославянских памятниках в других чтениях было в употреблении и прямое заимствование скандаль: *посълетъ снѣчлѣчѣскы анѣлы своѣа. ꙗ съвержътъ отъ црѣствѣ его въс скандальы. ꙗ творциа беззаконни. ꙗ въврѣжътъ ѿ въ пшть огньнѣ. тѣгда вѣдетъ плауъ и скръжетъ зѣволъ*. [Мф., 13: 41–42]; в Зогр. и во всей последующей традиции в этом чтении употреблено слово *съблазнъ*, которое в данном контексте обозначает тех, кто соблазнял, прельщал людей, понуждая их сойти с пути праведности.

Забвение образности приводит к преобразованию символа в понятие, и

слово *соблазн* становится термином христианской этики; именно так оно и толкуется в старых словарях.

В Словаре Академии российской это слово ошибочно попало в гнездо «БЛАГО» и было истолковано в соответствии с традицией: «1) Все то, что подает человеку случай или повод впасть в пороки или грехи. 2) Знаменует все то, обо что на пути претыкаются путники, на прим. камень, и проч.» [САР; 1; с. 220]. Весь иллюстративный материал в данной словарной статье взят из Псалтири и Нового завета.

В «Словаре церковнославянского и русского языка» *соблазн* также толкуется традиционно: «Повод ко греху, искушение» [СЦРЯ; 1847; IV; с. 168].

Даль: «Соблазнъ, что соблазняетъ, поводъ ко грѣху, прелесть, искушенье, предметъ вождельня» [Даль; IV; с. 338].

Однако утраченный образ оставляет след в виде эмоциональной и экспрессивной окраски слова, что приводит к изменению его семантической структуры: сема греха, порока уходит далеко на задний план, а на передний план выдвигается сема того, что вожделенно, привлекательно, сладостно. В литературном языке XIX–XX веков употребление слов *соблазн* и *соблазнить* в указанном значении становится преобладающим. Множество примеров можно найти в электронном ресурсе [www.ruscorgo.ru](http://www.ruscorgo.ru), согласно которому обычными становятся такие словосочетания: *соблазн такого легкого остроумия, соблазн невинности, соблазн войти на зарубежные рынки, соблазн экономического роста, соблазн изобрести «теорию всего», ипотечный соблазн, соблазн изменить самоидентификацию, соблазн стать «Западом», соблазн стихотворчества, соблазн подмены понятий, соблазн тотальной виртуозности, соблазн погрузиться в нирвану, соблазн ухмыльнуться, соблазн использовать ядерное оружие, соблазн забалтывать проблему, соблазн зажмуриться на вековой опыт, соблазн заработать на аренде помещений, соблазн снизить тариф, соблазн простых решений, соблазн утаить эту книгу, соблазн сталинизма, безумный соблазн поэтического слова, неопалимый соблазн бесполости, соблазн простодушно-бесстыдной ереси, соблазн подольститься, соблазн запрета мысли, соблазн непослушания, соблазн вольного толкования, соблазн приложиться к коньяку, соблазн больших денег, соблазниться легким заработком, соблазниться революцией, соблазниться на деньги, соблазниться деньгами, соблазниться красотой пирожных, соблазниться деторождением, соблазниться его охотничьими подвигами, соблазниться прелестным предложением, соблазниться дешевизной, соблазниться желанием явиться в Петербург, соблазниться на семейную жизнь, соблазниться административною почестью декана или ректора, соблазниться попыткой просвещать старую Европу светом социалистической революции, соблазниться брошкой, соблазниться мятным пряником, соблазниться техникой, соблазниться демагогией и многие подобные [Национальный корпус русского языка, электронный ресурс].*

Апофеозом безуспешной эмансипации слова *соблазн* от религиозных коннотаций можно считать фразу Леонида Зорина, также найденную нами на просторах [ruscorgo.ru](http://ruscorgo.ru): «Да, мир, в котором соблазн греховен, устроен изначально неверно» [Глас народа // «Знамя», 2008].

Изменения в словоупотреблении повлекли за собой изменения в лексикографическом описании: «СОБЛАЗН, -а, м. 1. То, что прельщает, влечет к себе; искушение. 2. Устар. Греховное искушение» [СРЯ, IV, с. 169].

Вероятно, именно забвение исконной религиозной семы стало причиной того, что в новейшем переводе Нового завета под названием «Радостная весть» (далее РВ), изданного Российским Библейским обществом, слова *соблазн, соблазнять, соблазнительный* вообще ни разу не употребляются и всюду заменены синонимами или описательными оборотами.

Глагол *соблазнить*, устойчиво употребляемый в синодальном переводе (далее СП), заменен на различные слова и словосочетания в зависимости от понимания содержания текста.

Наиболее близким по смыслу в РВ является словосочетание *ввести в грех*:

СП: «Если же правый глаз твой **соблазняет** тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» [Мф., 5: 29].

РВ: «Если твой правый глаз тебя **вводит в грех**, вырви его и отбрось! Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросят в геенну» (См. также: Рим. 14: 13; Рим. 14: 20; Рим. 14: 21).

Такая замена, не искажая в целом смысла, все же ослабляет образность, делает текст одноплановым.

Однако чаще замена слова *соблазн* в новом переводе при понятийной точности приводит к утрате смысловой глубины и эмоциональной составляющей, а нередко и к смысловым искажениям. Соблазн и в прямом значении, и в символическом — это всегда нечто с «двойным дном»: первое «дно» — это что-то привлекательное, заманчивое, сладостное, но за ним скрывается второе «дно» — нечто опасное и даже губительное; и никогда, даже в самых «светских» контекстах, эта двойственность — желанного и опасного — не исчезает.

Переводчики РВ, задавшиеся целью по какой-то причине не употреблять слова *соблазн* и его производные, подбирая понятийные эквиваленты, нередко утрачивали исконную двойственность символа, что, в свою очередь, оборачивалось невозможными смысловыми потерями. Например:

СП: «А кто **соблазнит** одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» [Мф., 18: 6].

РВ: «А для того человека, кто **толкает на грех** хотя б одного из этих людей — простых и малых, верящих в Меня, — было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую».

Здесь утрачено первое «дно» — идея привлекательности, заманчивости того, чем искушает соблазнитель «малых сих». То же и в притче о сеятеле: зерно, падшее на камень, символизирует человека, который «слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас **соблазняется**» [Мф., 13: 21]. В переводе РВ: «... в дни притеснений и гонений за слово тотчас **отступается**». См. также:

СП: «Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне **соблазн!** потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» [Мф., 16: 23] — РВ: «Ты **сбиваешь Меня с пути**»;

СП: «Тогда говорит им Иисус: все вы **соблазнитесь** о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада» [Мф., 26: 31] — РВ: «Все вы **отступитесь** от Меня этой ночью»;

СП: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы не **соблазнились**. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» [Ин., 15: 26–27, 16: 1–2] — РВ: «Я сказал это вам, чтобы **вера не дрогнула** ваша»;

СП: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и **соблазны**, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» [Рим., 16: 17–18] — РВ: «Прошу вас, братья, остерегайтесь тех, кто вносит разногласия и ставит **препоны** на пути веры».

В следующих чтениях в переводе РВ можно, напротив, наблюдать утрату второго «дна» — идеи опасности, гибельности для того, кто поддался соблазну.

СП: «И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это? И **соблазнялись** о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» [Мф., 13: 53–57]. РВ: «И потому они Его **отвергли**». Здесь совсем нет мотива предостережения об опасности для тех, кто отвергнет Его как Богочеловека. См. также: Мф., 26: 31; Мф., 26: 33.

В некоторых случаях изгнание слов *соблазн*, *соблазниться* ведет к роковым для переводчиков РВ смысловым последствиям. Например:

СП: «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумеите! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, **соблазнились**?» [Мф., 15: 12]. РВ: «Знаешь ли Ты, что Твои слова вызвали **негодование** у фарисеев?».

Негодование отражает лишь сиюминутную реакцию фарисеев на столь явно выраженное Иисусом попрание ветхозаветной законнической обрядности, тогда как смысл того, что эти слова Христа стали соблазном для фарисеев, раскрывается в полноте лишь в перспективе всей евангельской истории: не только эти слова, но и Сам Иисус Христос явился для иудеев соблазном, как об этом и писал апостол Павел: «... мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев **соблазн**, а для Еллинов безумие» [1 Кор., 1: 23], — соблазн потому, что Его слова давали фарисеям сладостное чувство своей правоты, без которой трудно было обвинить Его и предать на распятие, но это-то чувство и явилось ловушкой, губительной для фарисейства; поэтому Иисус и предупредил своих учеников: «Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» [Мф., 15: 14].

Такое же непонимание глубины символа переводчиками РВ имеет место и в следующем случае.

СП: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем **соблазна** — σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν» [1 Ин., 2: 10]. РВ: «Кто любит брата, тот живет в свете и ни обо что **не споткнется**». В Евангелии речь о том, что любящий брата пребывает в свете, то есть он прозрачен, в нем нет затаившейся лжи, значит, он не может быть соблазном, ловушкой для других, никто в нем не обманется. В переводе РВ речь о другом — о том, что любящий брата сам никогда не споткнется, не попадет в капкан. Спрашивается, почему?

Таким образом, замена слова-символа *соблазн* словами с однозначным понятийным содержанием может повлечь за собой невосполнимые, а в иных случаях и катастрофические потери для выражения общего смысла евангельского текста.

В контексте этого рассуждения уместно также сказать о втором явлении слова *скандал* в русский язык: если первое явление в X–XI вв. было неудачным, ибо оно было быстро вытеснено из употребления славянским эквивалентом *соблазн*, то в XIX, начиная с 30-х годов, оно быстро входит в литературный язык из французского языка. Греч. σκάνδαλον было заимствовано латинским языком, как и славянским, при переводе Нового завета; из латыни оно перешло во французский, в котором, освободившись от узкоспециальной богословской среды и попав в новые контексты, приобрело такие значения, как ‘неприличный поступок’, ‘срам, стыд, позор’, ‘огласка’, ‘бесславиe’, ‘возмущение’, ‘шум’.

Традиция перевода слова σκάνδαλον словом *соблазн* идет от славянской Библии, а традиция употреблять слово *scandale* в значении ‘огласка’, ‘бесславиe’, ‘возмущение’, ‘шум’, прил. *scandaleux* в значении ‘скандальный; постыдный, неприличный; возмутительный’ идет от французского языка. Совместившись, эти две традиции дали то своеобразное употребление слова *соблазнительный*, которое мы находим у Пушкина:

Зачем у вас я на примете?  
 Не потому ль, что в высшем свете  
 Теперь являться я должна;  
 Что я богата и знатна,  
 Что муж в сраженьях изувечен,  
 Что нас за то ласкает двор?  
 Не потому ль, что мой позор  
 Теперь бы всеми был замечен,  
 И мог бы в обществе принесть  
 Вам **соблазнительную честь**?  
 [Евгений Онегин, 1960, 8, 44]

Здесь словосочетание *соблазнительная честь* следует понимать в смысле ‘скандальная слава, известность, репутация’ [Добродомов, Пильщиков, 2008; с. 189]. Этими исследователями было установлено, что в русских текстах Пушкина слова *скандал*, *скандальный* не используются, «а в соответствующих случаях употребляется слово *соблазн*. Если по-французски Пушкин говорит *produire du scandale, faire du scandale*, то в его русских текстах

этим глагольно-именным сочетаниям соответствует сочетание *произвести соблазнъ*» [Там же, с. 194].

Употребление слов *соблазн*, *соблазнительный* в качестве семантического эквивалента франц. *scandale*, *scandaleux* было свойственно не одному Пушкину, оно было обычным для языка 20–40-х гг. XIX века, однако во второй половине XIX века слово *соблазн* в его «французском» значении выходит из употребления, вытесняясь словом *скандал*. Как указывает Ю.С. Сорокин, «в литературном употреблении второй половины XIX в. из слова *соблазн* уже вычитаются те специфические смысловые характеристики, которые закрепляются теперь за словом *скандал*. Слово *скандал* специально принимает на себя выражение чего-либо нравственно предосудительного, всякого случая, вызывающего нежелательную огласку, позорящую участников <...> За словом *соблазн* остаются лишь общее значение искушения и специфический старый смысл этого бывшего „славянизма”: „повод ко греху”» [Сорокин, 1965, с. 135].

И. Г. Добродомов и И. А. Пильщиков не указывают, по какой причине слово *соблазн* не выдержало конкуренции со словом *скандал*; они пишут лишь о том, что результатом конкуренции стала семантическая дивергенция этих слов. Как нам представляется, причиной этого было церковное употребление слова *соблазн* с исконно присущей ему семантической двусмысленностью, то есть чего-то одновременно притягательного и опасного, двусмысленностью, утраченной франц. *scandale*. Иначе говоря, даже гений Пушкина оказался бессилён перед этимологической памятью слова, которая стала препятствием к тому, чтобы слово *соблазн* стало простой заменой *скандала*.

Возвращаясь к нашей основной теме, переводу слов *σκάνδαλον*, *σκανδαλίζω* в РВ, мы можем сказать, что выстроенная В. В. Колесовым схема развития средств познания *образ — символ — понятие*, будучи исторически верной, вовсе не означает, что каждый следующий этап отменяет предыдущий. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, и там, где уместен и пригоден один способ, будет беспомощным другой; понять же, какое средство является в данном случае наилучшим, зависит от искусства пишущего.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bauer W.* Griechischen-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und urchristlichen Literatur. Berlin—New-York, 1988.
2. *Boisacq E.* Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Paris, 1938.
3. *Louw J. P., Nida E. A.* Greek-English Lexicon of the New Testament. Vol. 1–2. New York, 1989.
4. *Алексеев П.* Церковный словарь. Ч. 4. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1816.
5. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. Изд. 3-е под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1909. Репринт: М., 1994.
6. *Добродомов И. Г., Пильщиков И. А.* Лексика и фразеология «Евгения Онегина». Герменевтические очерки. М., 2008.
7. *Колесов В. В.* Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. СПб., 2011.

8. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorpora.ru/index.html>.
9. Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 4. М., 1960.
10. Радостная весть. Новый Завет. Изд. 2-е. М., 2003.
11. Словарь Академии российской. Ч. V. СПб., 1794.
12. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30-90-е годы XIX века. М.–Л., 1965.
13. Словарь русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой. Т. IV. Изд. 3-е. М., 1988.
14. Словарь церковнославянского и русского языка. Т. IV. СПб., 1847.
15. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 7. М., 1980.

*Поступила в редакцию 6.09.2014*

**Б. Н. ТАРАСОВ**

**КНИГИ А. ДЕ КЮСТИНА «РОССИЯ В 1839 ГОДУ» И  
В. ТИССО «РОССИЯ И РУССКИЕ:  
ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»  
В КОНТЕКСТЕ МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ  
О РУССКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ**

В статье рассматриваются разные грани культурно-исторической и идеологической предвзятости, влияющие на формирование стереотипного восприятия на Западе общественной и государственной жизни в России.

*Ключевые слова:* культурные стереотипы, образ России в западном сознании, Россия и Европа

В номере 39 газеты «Русь» появилась заметка «Новая книга г. Тиссо», которая принадлежала перу Виктора Тиссо (1845–1917). Автор был уроженцем Швейцарии, редактором клерикальной газеты “Gazette de Lausanne”, в которой иронически освещал всё, кроме католической религии. Большим успехом пользовалась его книга “Путешествия в страну миллиардов”, где карикатурно изображалась Германия, которую не обогатили полученные от Франции миллиарды. Перу В. Тиссо также принадлежат книги: “Искусства в Швейцарии”, “В поисках счастья”, “Пруссаки в Германии”, “Путешествия в аннексированные страны”, “Вена и венская жизнь”, “Мистерии Берлина”, “Путешествие в страну цыган”, “Неизвестная Венгрия”, “Русские и немцы”, “Влюбленная Германия”, “Прусская секретная полиция”, “Китай”, “Достопримечательности Северной Германии”, “Живописная Африка”, “Неизвестная Швейцария” и др.

Книги В. Тиссо, написанные увлекательным языком, пользовались широкой популярностью, о чем свидетельствует количество упомянутых в начале заметки их переизданий.

Автор заметки противопоставляет книгу Виктора Тиссо “Россия и русские” небылицам и мерзостям, “заведомой лжи и умышленным искажениям”, которые часто встречаются в зарубежных сочинениях и публикациях о России. Исторически сложившаяся на Западе тенденция такого восприятия по-разному проявлялась в XIX веке. Рост влияния российской державы в Черноморском бассейне и на Ближнем Востоке постоянно вызывал подспудное сопротивление европейских стран, которые противопоставляли этому

экономическое, политическое давление и антирусскую идеологическую пропаганду. Особую активность проявляли английские политики, которые при каждом повороте событий на Балканах приписывали России захватнические замыслы и создавали из нее образ врага. Они во многом использовали воображаемую “русскую угрозу” для дальнейшего расширения своих колониальных владений под лозунгом “защиты” их безопасности. Подобные приемы в книгах и газетах накладывались на памфлетно-карикатурные изображения страшного “захватчика”, “тирана”, “петербургского чудовища”, “жестокого татарина”, какими нередко представлялись русские цари и их подданные. В английском парламенте раздавались оскорбительные выпады против Николая I и Екатерины II, “чудовищной бабки чудовищного императора” и даже “разнузданной проститутки”. Еще в 1812 году Е. Д. Кларк в книге “Travels in Various Countries” (“Путешествие в разные страны Европы, Азии и Африки...”) вводит весьма распространенный образ кнута как обобщающего символа России, словно предваряя интонации знаменитой книги А. де Кюстина “Россия в 1839 году”: “Император колотит первого из своих придворных, князя и бояре бьют своих рабов, а те — своих жен и детей. Бичевание в России начинается еще до восхода солнца, и на всем протяжении этой огромной империи, во всех слоях населения палка работает с утра до вечера” [McNally, 1958, s. 88].

Страх перед возраставшим могуществом России и возможным объединением славян под эгидой русского царя служил одним из источников формирования фантастических образов русского варвара или славянского Чингисхана, который якобы угрожает завоеванием всему Западу и даже представляет опасность для всего человечества. Жупел панславизма стал особенно популярным на немецкой земле. В 1841 г. Н. И. Надеждин писал из Вены, что «со всех концов Германии бьют тревогу; распускают слухи, подозрения, страхи; проповедуют всеобщее ополчение против какого-то страшилища, окрещенного страшным именем “панславизма”» [Москвитянин, 1841, с. 515]. Автор изданной в 1843 г. в Лейпциге анонимной книги “Slaven, Russen, Germanen. Ihre gegenseitige Verhältnisse in der Gegenwart und Zukunft” (“Славяне, русские, германцы. Их взаимоотношения в настоящем и будущем”) подозревает за термином “панславизм” столько тайных тенденций со скрытыми политическими целями, что стремится «замарать его нечистотами, изобразить его в виде зловещего страшилища, окутанного в “северную ночь”, и неразрывно связать его в своем распаленном воображении с русским кнутом и сибирскими заснеженными полями. А ведь эти мужи, которые с такой беспримерной яростью нападают на панславизм, принадлежат в Германии как раз к партии, которая называет себя “либеральной”, к той партии, которая с несказанным воодушевлением ратует за идею “германского единства”, “единой объединенной Германии”, “великой немецкой нации”» [Славяно-германские связи; 1969; с. 46].

О распространенности подобных “мнений иностранцев о России” (этими словами названа соответствующая статья А. С. Хомякова) свидетельствуют и личные впечатления отечественных путешественников. “Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством, — говорили в 1835 г. студенты профессорского института (В. С. Печерин, М. С. Куторга, А. И. Чивилев и др.,

побывавшие в Германии и Франции). — Профессора провозглашают это с кафедр, старясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества” [Никитенко, 1955, с. 173]. Такие настроения совпадают с выводами из отчета III отделения за 1841 г.: “Против России сильно предубеждены в Германии. Источником недоброжелательства к русским почтень можно, с одной стороны, предания старинной политики германских народов, с другой — зависть, внушаемую величием и силою нашей Империи, и мысль, что ей провидением предопределено рано или поздно привлечь в недра свои все славянские племена, и наконец, злобу против России партии революционеров, которые беспрестанно появляющимися в Англии, Франции и Германии паквилями, изображая Россию самыми черными красками, гнусно клеветою стараются вселить к ней общую ненависть народов” [Миличина, Осповат, 2000, с. 546–547].

О своеобразии “черных красок” (“небылиц” и “мерзостей”, говоря словами автора комментируемой заметки) в европейской печати XIX века можно судить по лексическому анализу метафорического описания в них разных сфер российской действительности: “Для страны — бескрайняя степь, леденящий полярный круг, Сибирь; для подданных — казаки, киргизы, калмыки, башкиры, татары, курносые, узкоглазые; для династии и царей: Танталов род, смесь рабства и деспотизма, народоубийца, лицемер, персонифицированное зло; для общественной сферы — варварство, кнут, нагайка, запах сала и дегтя; для отношений к соседям — дремлющий великан, распластавшийся гигант, чудовище, хищная птица, борьба между светом и тьмой, солнечным пеклом и ледяным холодом”. По словам немецкого исследователя Д. Гро, весь XIX в. на Западе шла “идеологическая борьба против России под девизом борьбы с деспотией, развития против стагнации, культуры с варварством” [Славяно-германские исследования, 2000, с. 349].

На страницах французской печати обсуждалась тема русской угрозы. Такие подозрения “нас в стремлении захватить весь мир, в желании задушить цивилизацию и превратить Европу в казачий или башкирский стан” П. А. Вяземский называл банальными обвинениями, имеющими хождения на улицах и в газетах Парижа и созданными для того, чтобы напугать и позабавить зевак. Речь, однако, шла не столько об испуге и забавах зевак, сколько о влиянии на реальную политику. Так, граф Ш. Ф. де Монталамбер, пэр Франции и католический публицист, прилагавший немало усилий для поддержания польской эмиграции в ее противостоянии с Россией, писал о последней как о предмете лести для одних, неосведомленности для других, инстинктивного страха для всех, как о стране, которую “мы, не колеблясь, объявляем наибольшим врагом всего, что нам еще осталось спасти от христианского общества” [Тарле, 1906, с. 26]. Примером распространенных во Франции публичных представлений о России может служить ее карикатурная история — “Драматическая, живописная и карикатурная история Святой Руси”, иллюстрированная Г. Дорэ и наполненная картинками нагаек, кнутов, кровавых следов от пыток, лежащих «пачками» на карточных столах рабов, которых проигрывают и выигрывают их хозяева. . . [Histoire dramatique, 1854] О подобных представлениях свидетельствует и А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому из Парижа: “Les mystères de la Russie” (“Тайны России”)

вышла только первая тетрадка с ж... ми в русских банях. Девушке в руки взять нельзя, и Смирнова не могла показать брошюры Елене Мещерской. <...> Автор тот же Fournier (Фурнье) (M. Fournier, автор изданной в 1844 г. в Париже брошюры “Russie, Allemagne et France” — “Россия, Германия и Франция”), что собрал вранье о России в одной книжке. Очень злого не будет, вероятно, а просто дрянь — всякая всячина из печатных и салонных дразгов» [Остафьевский архив князей Вяземских, 1889, с. 286]. О том, как французская печать питала не только политические умы, но и поэтическое воображение, можно судить по стихам В. Гюго «Карта Европы»:

О русские! Народ, бредущий в тундре снежной,  
 В Санкт-Петербурге — раб, раб — в тундре безнадежной,  
 Сам полюс для него стал черною тюрьмой;  
 Россия и Сибирь, — о царь! тиран кровавый! —  
 Два края скорбные чудовищной державы:  
 Один — Насилие, Отчаянье — другой!  
 [Гюго, 1928, с. 61]

В Европе XIX века раздавались, тем не менее, и другие голоса. Во Франции Ф. Р. Шатобриан, хотя и опасался “русской угрозы”, все-таки признавал за сильной Россией христианскую и цивилизующую роль на Востоке и надеялся извлечь пользу из союза с ней для своего государства. Поэт и политический деятель А. Ламартин, писатель О. де Бальзак, философ Л. Г. Бональд в разной степени признавали восходящую мощь России или выступали за союз с ней. С меньшими сомнениями приподнимал “уголок завесы” над великим будущим России А. де Токвиль в книге “*Démocratie en Amérique*” (“Демократия в Америке”), когда писал об этих двух странах как неожиданно оказавшихся на авансцене мировой истории и в первом ряду среди иных народов: “. . . все остальные народы, кажется, уже понемногу достигли очерченных им природой пределов и должны лишь их сохранять; эти же находятся в постоянном росте: все другие остановились и продвигаются вперед тысячными усилиями; и только эти двигаются легким и быстрым шагом по пути успеха, границу которого еще невозможно обозначить <...> Их отправная точка и пути различны; тем не менее каждый из них, по-видимому, призван таинственным замыслом Провидения взять в свои руки судьбы половины мира” [Tocqueville, 1951, p. 430–431].

В том же духе высказался в Германии Ф. В. Шеллинг после русско-турецкой войны, завершившейся Адрианопольским договором: “России <...> суждено великое предназначение, и никогда она еще не высказывала своего могущества в такой полноте, как теперь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие смотрят на нее с участием и желанием успеха; жалеют только, что в настоящем положении её требования, может быть, слишком умеренны” [Киреевский, 1830, с. 115]. По словам Н. А. Мельгунова, беседовавшего с Ф. В. Шеллингом, тот “имеет о России высокое понятие и ожидает от неё великих услуг для всего человечества” [Мельгунов, 1839, с. 181]. Другой философ, Ф. К. Баадер, полагал, что подобно тому, как Россия избавила Европу от наполеоновского господства, высокий дух православной Церкви способен помочь ей освободиться от идей Французской революции

и антихристианского материализма. И Ф. Шлегель предполагал в “славянском ожидании” начало “совершенно новой эпохи” в Европе. Он следовал за И. Г. Гердером, видевшим в возможном объединении славян великое будущее и благотворное воздействие их духа и культуры “по всей ныне погруженной в сон Европе” [Гердер, 1959, с. 324–325]. Весьма показательно и высказывание Г. Гейне: “Все, что алармисты сочиняли до сих пор об опасности, которой подвергает нас чрезмерная мощь России, — сплошная глупость <...> Если сравнить в смысле свободы Англию и Россию, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических обстоятельств, в России же — на основе принципов...” [Гейне, 1956–1959, с. 225–226].

Среди разнообразных (в сочетании положительных и отрицательных акцентов) сочинений, с которыми можно сравнить «новую книгу г. Тиссо», особо выделяются в контексте доминировавших мифов и стереотипов путевые впечатления А. де Кюстина «Россия в 1839 году». Эти впечатления связаны с его более чем двухмесячным пребыванием в России летом 1839 г. и с «перевариванием» западных идеологических стереотипов и страхов, достоверных и недостоверных сведений о стране «северных варваров» из различных печатных источников, устных бесед, анекдотов, слухов и т. п. По словам А. И. Герцена, из всей русской жизни в обзоре автора оказалась лишь одна треть, в описании которой есть яркие и меткие наблюдения. С точностью отдельных наблюдений в этой одной трети, касающихся аристократических придворных и чиновничьих кругов или бездумной подражательности Западу, соглашались Николай I, А. Н. Бенкендорф, В. А. Жуковский, М. П. Погодин, П. А. Вяземский и многие читатели «России в 1839 году».

Отмеченные достоинства «книги господина Кюстина» не перевешивали многочисленных ее изъянов, обусловленных методологией и личностью автора, который, не зная русского языка, истории, литературы и культуры, наспех проезжал большие расстояния, избегал разговоров с представителями разных сословий, неточно излагал факты, но при этом проецировал узкий круг сведений и впечатлений на огромный масштаб страны, отделял царя от народа отождествлял «фасадность» придворного окружения с сущностью всей нации, превращал повторяющиеся скороспелые суждения в глобальные категорические и метафорические «обобщения». По мнению автора, — Россия — это «пустыня без покоя и тюрьма без досуга», «государство, где нет никакого места счастью», она «возникла лишь вчера, и история ее богата одними посулами», а «единственное достоинство русских — покорность и подражание», они — «скопище тел без душ». Более того, «русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия — не более, чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости <...> Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством православных самодержцев, единовластно воцарится схизма...» [Кюстин, 2000, с. 439, 435].

Подобные умозаключения А. де Кюстину диктовало не стремление к истине, а своеобразное мифотворчество, превращающееся в памфлет. О. де Бальзак, познакомившийся с замыслом книги, в письмах к Э. Ганской от

3/15 марта и 21 июня/3 июля 1840 г. назвал ее «страшной», а Ж. А. Шницлер, автор сочинений о России, — «намеренно злой» и притом «остроумной». Кюстин осознавал задачу своего сочинения в военной терминологии (как «бой с колоссом», с которого необходимо сорвать маску при малом количестве боеприпасов), а также признавался в навязчивых идеях и грезах болезненного воображения. При таких подходах, установках и состояниях сознания любая страна может быть представлена в соответствующем освещении. Как замечал Я. Н. Толстой, «славную книгу мог бы сейчас написать о Франции кто-нибудь из русских, в отместку за книгу о России маркиза де Кюстина: стоило бы только перечислить все обвинения, которыми осыпают друг друга различные партии; стоило бы только воспроизвести все то, что высказывается в печати о беспорядках, безнравственности, корыстолюбии, недобросовестности и даже бесчеловечности французов. И действительно, никогда, быть может, не совершалось столько преступлений, сколько их совершается с некоторых пор в городе, именуемом ими столицей культурного мира, да и вообще по всей Франции, впавшей в ту глубочайшую развращенность, которая ежедневно сказывается в ужасающих, приводящих в содрогание преступлениях...» [Литературное наследство, 1937, с. 603]. Можно было бы добавить к «высказываниям печати» и исторические явления: религиозные войны, колдовские процессы, восстания угнетенного народа, революционный террор и т. д.

Подобные доводы *tu quoque* (ты тоже — лат.) естественно возникали сами собой, не затрагивая мировоззренческих и методологических предпосылок книги. И именно усечено-памфлетная и «романическая» методология, выделяющая из многоликой и противоречивой социально-исторической реальности «живописные» факты, отрывающая их от целостного контекста, направляющая на них яркий луч света и выдающая их за полноту картины и истины (методология, свойственная разного рода «художникам», риторам, ораторам, идеологам, пропагандистам), становилась ясной более глубоким читателям. П. А. Вяземский подчеркивал: «Автор путешествия, хоть он и пробыл в России слишком мало времени для того, чтобы достать достаточный документальный материал для написания добросовестной и поучительной книги, должен был, однако, увидеть здесь то, что видят здесь почти все, и что видят почти всюду: добро по соседству со злом; пороки и добродетели; добрые намерения, извращаемые при их воплощении в жизнь; тайную и непрерывную борьбу между слабостями и страстями человеческого сердца и вечными принципами истины, добра и красоты, борьбу, верх в которой берет то одна, то другая сторона» [Вяземский, 1992, с. 81]. А. де Кюстин же, по заключению П. А. Вяземского, употребил свой ум и талант для сочинения толстенного с «оттенком партийности» четырехтомного «романа», наполненного, грезами, намеками, «белой и черной магией», смесью ложного пафоса и морализаторства, скандальности и философских обобщений, религии и политики, исторических фактов и сплетен.

Отметив методологические и личностные особенности книги, П. А. Вяземский и многие другие ее критики оставили без внимания отмеченную Тютчевым в письме к жене от 14 июля 1843 г. замороженность автора архитектурой Московского Кремля и православных храмов (нечто подобное испытал более четверти века назад Наполеон), церковным пением, некото-

рыми чертами характера русских, таинственным величием страны, которое его страшит и одновременно восхищает [Кожин, 1999, с. 164–169]. По его впечатлению, Россия на всем огромном протяжении «внимает голосу Бога» и являет собой «удивительное государство»: «...никто более меня не был потрясен величием их нации и ее политической значительностью. Мысли о высоком предназначении этого народа, последним явившегося на старом театре мира, не оставляли меня на протяжении всего моего пребывания в России» [Кюстин, 2000, с. 20].

Подобные мысли озадачивали многих читателей. Например, К. К. Лабенский замечал: «...как ни странно, г-н Кюстин, утверждая на одной странице, что мы обречены на гибель, на другой немедленно прибавляет, что мы безмерно сильны и способны еще раз явить миру зрелище великого нашествия» [Новое литературное обозрение, 1994, с. 137]. А. Я. Булгаков в письме к П. А. Вяземскому от 22 декабря 1843/3 января 1844 г. восклицает: «И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы гнуснейший!» [Там же, с. 124]. К. А. Фарнгаген фон Энзе в письме к П. А. Вяземскому от 28 декабря 1843/9 января 1844 г. констатирует, что сквозь ненависть ревностного католика «у автора проступают, быть может, помимо его воли, выводы весьма лестные как для нации, так и для правительства; прежде всего, сам император предстает на страницах этой книги в качестве фигуры величайшего масштаба, и этот образ оказывается тем более лестным, что нарисован рукою явного недоброжелателя <...> вдобавок, господин де Кюстин безусловно искренен; он передает дело в ложном или извращенном свете, но лишь потом, что сам обманут» [Там же, с. 137].

Под «обманом» К. А. Фарнгаген фон Энзе имеет в виду мнения русских либералов (П. Б. Козловский, А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев), которые, по его словам, «с удовольствием изображают Россию в самом мрачном свете», смысловые акценты и лексика которых в этом изображении («деспотизм», «рабство», «азиатский народ и т. п.») отчасти совпадают с таковыми в зарубежной печати и которые в частных беседах с маркизом в определенной степени переформировали точку зрения будущего путешественника, а в целом с наибольшим удовольствием встретили его книгу. Последняя, писал 19/31 июля 1843 г. Н. И. Тургенев брату, «носит на себе отпечаток истины в главном характере того, что он описал. Подробности могут быть неточны, но сущность русского быта справедливо и точно изображена и в ярких чертах <...> Что книга эта будет полезна и для Европы и для России, в том не сомневаюсь <...> Русские будут обязаны взглянуть в это зеркало: отражение их образа конечно устрасит их: но вина не зеркала, а оригинала» [Там же, с. 120–121].

Подобные оценки возрождаются у ряда современных отечественных исследователей, повторяющих, что автор «России в 1839 году» может ошибаться в частности, но точен в целом, верен по сути, и согласно цитирующих, например, мнение своего зарубежного коллеги [Тарн, 1985, р. 518–519], что у Кюстина «страшные картины якобинского деспотизма» оттеняют «еще более страшные картины деспотизма царского, российского» [Мильчина, Осповат, 2000, с. 512].

Кюстиновское мифотворчество, нередко склоняющееся к карикатуре или

шаржу, но принимаемое за исторический анализ, было широко использовано в период «холодной войны» [Мяло, 1996, с. 89–95]. Необходимо подчеркнуть, что использование на Западе кюстиновского усечено-гипертрофированного образа «варварской» и «деспотичной» России в идеологических и политических целях соседствовало со стремлением более объективно оценить его книгу. Так, американский исследователь Дж. Ф. Кеннан хотя и склонен отождествлять описанную маркизом Россию Николая I с Россией Сталина и Брежнева, все-таки вынужден признать, что тот увидел лишь «одну Россию» и не увидел «другую», в которой проявились «высокие интеллектуальные и духовные качества русского народа» [Kennan, 1971, p. 124]. Французский исследователь М. Кадо раскрывает особенности писательской манеры А. де Кюстина, когда тот ограничивается «живописными набросками, не имеющими большого значения», прибегает к «широким обобщениям, отделенным от увиденных вещей» или злоупотребляет свободой эпистолярного стиля: в результате, например, «у западного читателя, может сложиться впечатление, что Николай — это новый Петр Великий, но также и новый Иван Грозный. Кюстин в совершенстве владеет такими намеками и инсинуациями» [Cadot, 1967, p. 190]. По убеждению М. Кадо, для объективного отношения к труду путешествовавшего маркиза следует учитывать и его психологическое своеобразие: «Современный читатель, конечно, не станет искать исторических уроков и наставлений в «России в 1839 году»: он более заинтересуется патологическим влечением Кюстина к сценам ужаса и жестокости. Только психолог мог бы в достаточной мере описать и объяснить столь очевидный случай садомазохизма. Но, на наш взгляд, невозможно понять «Россию в 1839 году», не акцентировав эту глубокую наклонность автора книги» [Ibid; p. 197].

Для понимания «книги господина Кюстина», которая, по выражению М. Кадо, в некоторых отношениях напоминает «черный роман», важно вернуться к отмеченной выше завороченности автора религиозностью, величием и мощью русского народа, государства, тайну которых он не стремится разгадать, а, напротив, как бы заслоняется от них, растворяет их в негативной беллетризованной публицистике, всюду выделяя и подчеркивая в своих размышлениях и «историях» прямо противоположные стороны ничтожества и пустоты национального русского бытия. Министр народного просвещения С. С. Уваров, готовя так и не осуществленный проект фундаментального историософского опровержения сочинения французского путешественника, вопрошал по этому поводу: «...если бы общество, насчитывающее 60 миллионов человек, было устроено так, как утверждает автор, и на тех основаниях, какие он ему приписывает, оно не смогло бы просуществовать и суток. Сам же факт, что оно существует, обладает устрашающей мощью и развивается, доказывает, что начальная посылка книги неверна, что рассуждения автора противоречат и реальности, и его собственным выводам <...> и если Россия хотя бы на мгновение приняла бы тот облик, который приписывает ей г-н де Кюстин, она давно бы уже рассыпалась с ужасным грохотом» [Мильчина, Осповат, 1995, с. 274–275].

По убеждению С. С. Уварова, страницы возможного опровержения «России в 1839 году» должны быть «проникнуты глубоким знанием нашей страны и пониманием важнейших исторических принципов, лежащих в

основах ее устройства», что принципиально отвергнуто А. де Кюстином. В превратно-укороченной методологии последнего Россия, вынужденная на протяжении многих веков защищаться от агрессий мирового масштаба (в том числе и наполеоновской) и спасти Европу от азиатских вторжений, выставляется именно таким захватчиком по самой своей природе и как главная угроза западной цивилизации. Словно солидаризируясь с С. С. Уваровым, Тютчев полагает, что такой «водевильный» подход с его «противоречивой» и «перевернутой» логикой опровергается, по сути, полнотой исторического знания и его религиозно-философской интерпретацией.

Если сравнивать сочинение А. де Кюстина с «новой книгой г. Тиссо», то последняя, как пишет автор рецензии, есть «ошибки, неверности и неточности», а также «вздор» и «сказки», хвалебные «пристрастия». Но в целом она проникнута «симпатией к русским и ко всему русскому». «Всем нам хорошо известно какие небылицы и подчас даже мерзости печатаются за границей о России, сколько заведомой лжи и умышленных искажений можно найти в каждом таком сочинении, и потому чрезвычайно приятно, — я скажу даже радостно, — прочесть такую книгу как «*La Russie et les Russes*» par Victor Tissot. Сам г. Тиссо сознается, что на основании всего читанного им о России он думал, что в таможене будут распарывать его кальсоны, выворачивать карманы его платья, разрезать подметки его ботинок. Но что же оказывается на самом деле? Да то, что все происходит самым обыкновенным образом и с такою любезностью, какой не найдете даже в австрийских таможах, говорит г. Тиссо, причем никто из таможенных чиновников не получил и не требовал ни одной копейки. Очевидно, продолжает автор, что все читанное им о России «*n'édrait pas moins faux de ton et de couleur*». Посвящая одну главу (VI) описанию Бердичева и делая вполне верную и талантливую характеристику Евреев (гл. VIII), г. Тиссо наполняет первую часть своего труда описанием Киева, рисуя мимоходом тип казака и малоросса (гл. XII) и давая отчет о виденной им русской фабрике и пожарной команде (гл. XVII). Вторая часть сочинения, за исключением первых трех глав, посвящена Москве. Как и в описании Киева, так и в описании Москвы встречаются страницы, написанные с большим талантом и чрезвычайно поэтически; так, например, вид Киева в лунную ночь (гл. XIV первой части), вид Москвы á vol d'oiseau с Ивана Великого (гл. VIII второй части) и проч.; но еще художественнее и поэтичнее написана глава XI первой части «В степях». Следует думать, что г. Тиссо с большим вниманием читал Гоголя и вообще знаком с русской литературой; к слову сказать, он знаком, как видно, и с русской историей, что можно встретить в иностранцах весьма редко» [Там же].

Приведем цитаты из книги Виктора Тиссо, которые характеризуют отмеченные рецензентом особенности (здесь и далее перевод автора):

«Бердичев — ужасный город! Всё в нем и вокруг него производит впечатление упадка, гадости и смерти. Дома с облупившимися фасадами, покрывшимися грязными дощечками. Грязь, среди которой они построены, источает болезнетворные миазмы и пары, которые их разъедают и разлагают <...> Однако вот несколько новых домов, которые выступают среди всех этих лачуг, словно искусственные зубы рядом с прогнившими. Среди них встречаются бледно-голубые здания с небольшими пристройками и террасами. Под террасами магазины и лавки приоткрывают свои двери... На краю главной улицы располагается католическая церковь, возле которой каждое воскресенье

собирается много крестьян, солдат и евреев в серой, бесцветной и безрельфной массе. Плотники с длинными топорами подмышкой и подвешенными на плече калошами с безразличным видом ожидают своих нанимателей» [Tissot, 1882, p. 66–67].

«Только евреи вносят некоторое оживление в эту толпу, похожую на остановившееся стадо. В старой одежде они снуют туда и сюда, продают и обменивают, прерывая метким словом оцепенение мужика, который широко смеется, словно фавн, и показывает крепкие белые зубы на бородатом лице. Облаченный в шубу, прогуливается в толпе богатый еврейский коммерсант в окружении своих клиентов, маклеров, комиссионеров и приказчиков» [Ibid.].

«Кзаки формировали небольшие республики, независимые сообщества, которые наполняли беглые крепостные дезертиры, монахи-расстриги, рецидивисты — люди, движимые духом бродяжничества, независимости и авантюры, потребностью постоянного передвижения и действия, жадной грабежа. Самыми знаменитыми были запорожские казаки, расположившиеся на каменистом острове посреди Днепра, в больших сараях. Когда они не сражались, то проводили время в веселых празднествах, пирушках, предавались оргиям и кутежам, нередко с трагической развязкой. На своих маленьких и быстрых лошадях эти дикие всадники налетали, словно грифоны, на города и деревни. Прячась в степных травах, которые полностью закрывали их вместе с лошадьми, они преследовали неверных, как охотник волка, и привязывали за волосы к седлу голову врага. Великолепный Константинополь, город с дворцами из золота и мраморными мечетями, притягивал их, как когда-то крестоносцев» [Ibid., p. 169–170].

«Русские пожарные, безусловно, лучшие и самые красивые пожарные в мире» [Ibid.].

«К десяти часам я прибыл в Киев. Мне настоятельно советовали взглянуть на этот город при лунном свете, чтобы увидеть необычный и неповторимый спектакль. Колокола византийских церквей, выделяясь на фоне неба полярной прозрачностью, сверкают, как ледяные вершины; голубые и звездные купола Святой Софии, Св. Андрея, Лавры отсвечивают как лазурные осколки, упавшие с неба; белые стены исчезают в тени темноты, как убегающие призраки, кресты сверкают и дрожат, как светоносные видения; высокие деревянные башни, барочной архитектуры, продлевают свои огромные тени на пустынные площади, и со всех концов деревьев, словно туманы, распространяют неподвижную и серебристую листву, а Днепр течет вдалеке, в ночи необозримой равнины, как блестящий зигзаг молнии» [Ibid., p. 219–220].

«Чем выше поднимаешься по колокольне Ивана Великого, тем более грандиозная и великолепная выстраивается панорама. Москва у ваших ног собирает и выставляет свои чудеса. Кажется, что медленно поднимаешься над городом, будто на воздушном шаре. С самой последней площадки взору открывается огромная столица, прекрасно расположенная на ступенях амфитеатра своих семи холмов. Никакое поэтическое воображение не может представить себе более замечательного спектакля. Со всех сторон, сотнями и тысячами, в ауре солнечных лучей сверкали подобно бриллиантам, сапфирам и рубинам, красные, голубые, серебристые колокольни. Они поднимались и расцветали как гвоздики, тюльпаны и георгины или острова многоцветья. Взору предстали более трехсот пятидесяти церквей со сверкающими под солнцем золотыми куполами. Вдали в розовой дымке выделялись башни, белизной и стройностью напоминавшие минареты [Ibid., p. 440–441].

«А дома с разукрашенными всеми красками радуги фасадами — от фиолетово-перламутрового цвета до бледного желтого! Всё это напоминает очаровательную простоту дворцов Венеции. Белые одеяла снегов на крышах оттеняют шумный колорит азиатского и византийского города» [Ibid.].

«Нет народа с более поэтической душой, нежели малороссы. И может ли быть иначе среди такой величественной природы, в таких великолепных и изменчивых, как море, степях, располагающих к бесконечным мечтаниям? При виде этих безграничных горизонтов, этого мощного солнца, освещающего золотистые колосья пшеницы и зеленые волны трав, при взгляде на эту прекрасную флору, которая внезапно, весной, бурно расцветает, словно лучезарный фейерверк! Под куполом звездных ночей, как сказочных ночей пустыни, что-то безотчетно вибрирует и поет в вашей душе; поэзия, молитва исходит из сердца и смешивается в вышине с воздушными песнями ласточек и жаворонков!» [Ibid.].

«Но придёт твоя весна, и ты расцветешь (Россия. — Б. Т.), так как корни твои живы и полны надежды. Ты ждешь, устремив глаза к звездам, зажигающимся над тобой. И, возможно, недалек тот час, когда, засучив рукава на волосатых руках и тряхнув густой шевелюрой, ты совершишь свое ужасное вторжение в Историю и сокрушишь Германца!» [Ibid.].

«Я полагаю, что материальное положение русского рабочего гораздо лучше, чем французского, английского и немецкого. Когда во Франции, Англии, Германии строились «буржуазные» дома, рабочие вынуждены были ютиться там в смрадных лачугах, скучиваться в узких комнатах без воздуха. Вся семья спала в одной комнате, которая одновременно служила ей и кухней. Русский рабочий квартируется так же хорошо, как и солдат; если он заболевает, его бесплатно лечит заводской врач. Его питание почти ничего не стоит ему. В России нет пролетариата. Рабочий это крестьянин, у которого в деревне есть кусок земли. И несмотря на свою слабость к водке, ему удастся экономить и посылать кое-какие деньги своим. Русские крестьяне проявляют значительную замечательную умелость и ловкость в своей профессии. Нужно их видеть, как они работают с деревом простым топором! Какая филигранная вырезка! Какая чеканка! Одним топором они строят целый дом без единого гвоздя! А кучера, простые мужики, как искусно они управляют своей упряжью! На дорогах с экипажами и санями почти не бывает никаких происшествий, даже в Петербурге, в самые оживлённые часы» [Ibid.].

«На службах в православных храмах нет никаких инструментов, и трудно себе представить более волнующую и выразительную музыку, нежели музыка человеческого голоса» [Ibid.].

«В России ничто не похоже на другие страны. Это страна контрастов в пейзаже, нравах, во всем», «странная страна, страна реальности и мечты, контраста и тайны» [Ibid.].

«Москва — это сердце и душа России, алтарь православной веры, очаг общей мысли, которая объединит однажды братьев-славян» [Ibid., p. 23].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle francaise. 1839–1856. P., 1967.
2. George F. The Marquis de Custine and his «Russia in 1839». Princeton, New Jersey, 1971.

3. Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie. P., 1854.
4. Kennan G. F. The Marquis de Custine and His "Russia in 1839". Princeton, 1971. P. 124.
5. McNally R. Th. Das Russlandbild in der Publizistik Frankreichs zwischen 1814 und 1843//Forschungen für osteuropäischen Geschichte. 1958. Bd VI.
6. Tarn J.-F. Le marquis de Custine, ou Les malheurs de l'exactitude. P., 1985.
7. Tissot V. La Russie et les Russes: indiscretions des voyages. Paris, 1882. 8-ème édition.
8. Tocsqueville A. de. Oeuvres complètes. P., 1951. T. I.
9. Вяземский П. А. Еще несколько слов о труде г-на де Кюстина «Россия в 1839 году», по поводу статьи о нем в «Журналь де Деба» от 4 января 1844 года//Теоретическая культурология и проблемы истории отечественной культуры. Брянск, 1992.
10. Гейне Г. Собр. соч.: В 10 тт. Т. 4. Л., 1956–1959.
11. Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959.
12. Гюго В. Избранные произведения. М., 1928.
13. Киреевский П. В. О Шеллинге // Московский вестник. 1830. Ч. 1. № 1.
14. Кожин В. В. Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России // Москва. 1999. №3.
15. Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Т. 2 М., 2000.
16. Литературное наследство. Т. 31–32. 1937.
17. Мельгунов Н. А. Шеллинг. Из путевых записок // Отечественные записки, 1839. Т. III. № 4–5.
18. Мильчина В. А., Осповат А. Л. Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина: Нереализованный проект С. С. Уварова // НЛО. 1995. №13.
19. Мильчина В. А., Осповат А. Л. Комментарии // Кюстин, Астольф де. Россия в 1839 году. В 2 т. М., 2000.
20. Москвитянин, 1841. Ч. 3, № 6.
21. Мяло К. Г. Между Востоком и Западом: опыт геополитического и историко-софского анализа // М., 1996. №12.
22. Никитенко А. В. Дневник. М., Т. 1. 1955.
23. Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 4. СПб. 1889.
24. Славяно-германские исследования. М., 2000.
25. Славяно-германские культурные связи и отношения. М., 1969.
26. Тарле Е. В. Самодержавие Николая I и французское общественное мнение // Былое. 1906. № 9.

Поступила в редакцию 7.12.2014

О. А. КАЗНИНА

## КОНФЛИКТ «Я» И «МЫ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. И. ЗАМЯТИНА И В. В. НАБОКОВА

В творчестве Замятина и Набокова одно из центральных мест занимает проблема «я» и «мы», во многом сходная с романтическим противопоставлением: «поэт и чернь», «художник и власть». В раскрытии этой темы эти столь разные по духу и мироощущению писатели, в чем-то существенном сходятся. Романы, в которых происходит столкновение личности и коллектива, современниками и более поздними исследователями творчества Замятина и Набокова оценивались как социальные, политические, антитоталитарные, антиутопические. И в этом есть своя правда. Однако главной в этих произведениях является не политическая тема, а тема творческой личности в современном мире, и в этом смысле они встраиваются в романтическую традицию. Не исключено также, что в так называемых «социальных» произведениях Набокова нашли отражение идеи и образы романа Замятина «Мы». Если и не существует явных (научных) оснований для того, чтобы говорить о влиянии Замятина на Набокова, то для прояснения замысла их произведений сопоставление может оказаться плодотворным.

Замятин писал о своем детище: «Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства – все равно какого» [Лефевр, 1999, с. 257]. В предисловии к роману «Bend Sinister» Набоков определяет главную тему романа: «Об искажении в зеркале бытия, о сбившейся с пути жизни, о зловеще левеющем мире» [Набоков, 1997, с. 196]. «Зловеще левеющий мир» — это для писателя мир, в котором исчезает грань между личностью и толпой, гением и талантом, творчеством и ремеслом, мир, в котором рушится привычная иерархия духовных, интеллектуальных, личностных рангов.

Э. Уилсон, критик и друг Набокова, считал роман «Bend Sinister» политическим, за что осуждал писателя, который, по его мнению, взялся не за свое дело. Но этот роман действительно, как заметили русские современники Набокова, не о политике, он — «о другом»: в нем раскрывается вечная набоковская тема одиночества и трагедии творческого сознания. Тема художника и его положения в мире была первостепенной и для Замятина. При всем несходстве стиля и мироощущения Замятина и Набокова в проблематике их романов обнаруживаются и другие общие черты, восходящие к философским, психологическим, гносеологическим проблемам русского культурного ре-

нессанса. В романе Замятина «Мы» и социальных произведениях Набокова в разном стилистическом ключе и идеологическом преломлении отразился необычайно разнообразный спектр вопросов, поставленных представителями «нового религиозного сознания», религиозного персонализма, символизма, декадентства, модернизма.

То общее, что бросается в глаза в «социальных» на первый взгляд произведениях Замятина и Набокова: для обоих писателей важна не политика, не проекты будущего, центральный нерв их произведений — положение интеллигенции в катастрофически меняющемся мире ценностей. Но именно через эту лично чувствительную для обоих тему раскрывается в их произведениях вечная мысль о достоинстве человека, о примате духовных ценностей над материальными, о разной степени свободы, необходимой людям разных духовных рангов. Решается эта проблема в форме, которую в более позднем истолковании принято называть «антиутопией», хотя в действительности речь идет об актуальном настоящем, о вполне конкретных отношениях самих писателей с окружающей интеллектуальной средой, а также порой и с государством, «холоднейшим из чудовищ».

В сентябре 1966 г. журналист Альфред Аппель задал Набокову занимавший многих вопрос о связи его произведений — «Приглашение на казнь» (1935) и «Под знаком незаконнорожденных» (1947) — с традицией русской утопии: с произведениями В. Ф. Одоевского, В. Я. Брюсова, а также с романом Е. И. Замятина «Мы». Набоков ответил: «Я безразличен к этим произведениям» («I am indifferent to those works») [Nabokov, 1973, P. 65]. Не первый раз Набоков пресекал попытки выявить «влияния» в своем творчестве. Он не признавал преемственности своего творчества с «предшественниками», даже если речь шла о его любимых авторах, таких как Джойс или Кафка, Роб-Грийе или Борхес. Он не признавал влияния Достоевского, хотя оно бросается в глаза во многих его произведениях. Что же говорить о Замятине? Может быть, это еще один случай намеренного «забвения» значимого и глубоко пережитого творчества непосредственного предшественника?

Из переписки Набокова узнаем, что он не только читал роман «Мы», но и хорошо помнил его содержание. В 1932 г. в письме к Глебу Струве, своему первому критику и переводчику, в то время занимавшему должность лектора в Институте Славяноведения при Королевском колледже Лондонского университета, Набоков писал: «Мне не удалось встретиться в Париже с Замятиним. Знаете ли Вы его «утопический» роман «Мы» (вышел только по-французски)? Хотите я вам пришлю — по памяти — его описание? Это должно быть интересно англичанам — особенно из-за глубокомысленной и «блестящей» «белиберды» Нухлеу'я на схожую тему» [Набоков, 2004, эл. ресурс].

Высказанное здесь Набоковым сожаление о несостоявшейся встрече с Замятиним заставляет о многом задуматься: во-первых, удивительно само его желание встретиться с советским писателем, во-вторых, неожиданна готовность по памяти воспроизвести содержание его романа и, в-третьих, поражает положительная оценка этого произведения при сопоставлении с «Дивным новым миром» самого Олдоса Хаксли. Позднее Набоков с пренебрежением выскажется и о «штамповках» «посредственного писателя Оруэлла», имея в виду его знаменитые антиутопии.

В одном из интервью на вопрос о знакомстве с советскими писателями, находившимися в Европе, Набоков заметил, что с А. Толстым, как «большевиком», он встречаться отказался бы, даже если бы представилась возможность. Замятина он, по всей видимости, «большевиком» не считал, хотя литературная эмиграция смотрела на него именно так. В глазах изгнанников Замятин — еще недавний председатель союза советских писателей — был опальным представителем большевистской административной элиты, имевшим заслуги перед этой властью. Замятин не стремился к сближению с эмиграцией и не пытался изменить это представление. Своими выступлениями в западной печати он не раз подтверждал, что уехал из России на время и вскоре собирается вернуться.

Среди критиков эмиграции, кажется, только Д. П. Святополк-Мирский отдавал должное его таланту, он же одним из первых отозвался на сообщения о предстоящей публикации романа «Мы». В своей книге о современной русской литературе (1926) критик писал: «Роман «Мы», о котором никто не может сказать, когда он будет опубликован, это научно-фантастическая картина будущего, созданная, судя по рецензиям, в новой острой манере, которая является развитием замятинского кубизма» [Mirsky, 1926, p. 4]. В России, считал критик, роман не будет опубликован до тех пор, пока существует советская цензура.

Роман, как писал Замятин в автобиографических заметках, был задуман в 1917–1918 гг. Основной текст был написан в 1920 г., а окончательная доработка состоялась не позднее середины 1921 г. Сложная судьба постигла роман: на родине автора ни одно издательство не соглашалось его напечатать. Состоялась, однако, так называемая «устная публикация»: в 1921–1923 гг. роман был публично прочитан на литературных собраниях в Петербурге и в Москве. В печати появились рецензии на неизданное произведение — редчайший случай в истории литературной критики. Летом 1921 г. Замятин отправил рукопись в Америку и в конце 1924 г. роман вышел в переводе на английский язык в Нью-Йорке [Zamiatin, 1924, 1925]. В 1927 г. «Мы» был опубликован на чешском языке в газете «Лидове новины» и в том же году отдельные главы были помещены в русском эсеровском журнале «Воля России» [Замятин, 1927]. Публикация была осуществлена без согласия автора: с пропусками отдельных глав, а главное — в обратном переводе с чешского и с английского (об этом сообщалось в преамбуле к публикации [Воля России, 1927, с. 3]). Тем не менее это противоречащее всем нормам и авторским правам издание явилось поводом к началу травли Замятина в советской печати. Подобно бомбе замедленного действия роман вызвал потрясение, взрывная волна которого вскоре захлестнула самого автора. Его перестали печатать, его пьесы запрещались к постановке. По редкому стечению обстоятельств, Замятину удалось получить право на легальный выезд в Европу с советскими паспортами для себя и своей жены. В ноябре 1931 г. Замятин уехал из России как советский гражданин. В 1932 г., приехав в Париж, он сохранял советский паспорт и продолжал платить за свою ленинградскую квартиру.

О центральной теме своего романа Замятин писал в предисловии к французскому переводу, который вышел в Париже в 1929 г.: «Одна из тем, пока еще очень робко затрагиваемых в советской литературе, это вопрос об отношении

личности и коллектива, личности и государства. На практике сейчас этот вопрос разрешен полностью в пользу государства, но это решение не может не быть только временным: в государстве, которое ставит своей конечной задачей сведение на нет государственной власти, эта проблема раньше или позже несомненно возникнет в очень острой форме. Именно эта проблема, правда, в очень утопической, пародийной форме, в виде *reductio ad absurdum* одного из возможных решений, является основой всего моего романа «*Nous autres*» [Замятин, 1990, с. 160–161].

Предисловие звучит оптимистично: автор верит в то, что принудительный коллективизм — это временное, переходное состояние России: он сам еще верит в истинную, обновляющую жизнь революцию. Но это предисловие предназначено для французских читателей, тогда как читатель русский не мог не ощутить мрачной апокалиптической атмосферы романа при всей яркости его красок и смелости футуристических образов. Действие романа «Мы» происходит в XXVI веке в Едином Государстве, покрывшем всю планету. В чертах этого государства есть что-то от Англии и Америки, что-то от России, но по сути это обобщенное «некоторое царство, некоторое государство». Личность граждан стерта, вместо имен употребляются номера, все носят униформу и даже в часы досуга шагают шеренгами под звуки государственного гимна. В романе создается образ рационализированной жизни, расчисленной по системе Тэйлора, человек превращен в функцию машины, он мыслит внушенными стереотипами.

Ко времени приезда Замятина в Европу роман «Мы» получил известность в европейских литературных кругах в переводе на французский язык, опубликованном в 1929 г. [Zamiatin, 1929]. Три года спустя, в 1932 г., в Англии вышел роман Олдоса Хаксли «*Brave New World*» («Дивный новый мир»). О. Хаксли в это время пользовался европейской известностью и его новое, явно политическое произведение, совершенно неожиданное в контексте его изысканных интеллектуальных романов, — привлекло всобщее внимание. Выход «Дивного нового мира» оживил интерес к роману «Мы» и к его автору: им заинтересовались корреспонденты газет и журналов, в печати появились интервью с Замятиным по поводу сходства идей и мотивов двух романов. Писатель сдержанно отвечал: «Совпадение, конечно, оказалось случайным. Но такое совпадение свидетельствует, что идеи — кругом нас, в том предгрозовом воздухе, которым мы дышим» [Замятин, 1988, с. 540].

Возможно, именно Набоков был первым, кто обратил внимание Г. Струве на роман «Мы», который с этого времени занял важное место в кругу его литературоведческих интересов. Г. Струве принадлежит первенство сопоставительного анализа романов Замятина, Хаксли и Оруэлла, а также указание на «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского как на их общий литературный источник. Дж. Оруэлл познакомился с романом Замятина через посредство Г. Струве, который, таким образом, сыграл уникальную роль в передаче традиций между русской и английской литературой. В 1946 г. Г. Струве послал Оруэллу экземпляр своей книги «*25 Years of Soviet Russian Literature*» [Struve, 1944, 1946] («25 лет Русской советской литературы»), тиражи которой вышли последовательно в 1944 и 1946 гг. В этой книге роману «Мы» посвящено около десятка страниц — больше, чем любому другому

произведению. Оруэлл настолько заинтересовался изложением романа, что разыскал французский перевод, прочел его и опубликовал на него рецензию. В отличие от Хаксли, Оруэлл никогда не скрывал, что роман «Мы» повлиял на замысел его романа «1984», об этом он сообщал и в своей эссеистике, и в письме Г. Струве, в котором благодарил его за сведения об этом произведении. Оруэлл предпринимал неоднократные попытки издать роман Замятина в Англии, но вокруг него словно сложился заговор молчания<sup>1</sup>.

Набоков читал роман Замятина «Мы» между 1929 и 1932 г. и по приведенному выше собственному признанию, мог пересказать его по памяти. Несколько лет спустя в его собственном творчестве появились произведения, центральным мотивом которых стал конфликт творческой личности с массовым сознанием, с коллективом и властью, столкновение «я» и «мы». Этот комплекс проблем определяет содержание произведений, созданных в 1930–1940 гг.: «Приглашение на казнь» (1935 г.), «Истребление тиранов» (1936), «Облако, озеро, башня» (1937), «Изобретение Вальса» (1937), а также первого романа американского периода «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»). Замысел «Bend Sinister» относится к началу 1940-х гг., но опубликован он был только в 1947 г. в США и стал первым английским романом американского периода творчества писателя. Первое и последнее произведение этого ряда сходны по теме и имеют внешние черты политической антиутопии.

Черты сходства социальных или политических романов Набокова с романом «Мы» побуждает задаться вопросом если не о влиянии Замятина, то по крайней мере о перекличке идей и мотивов и о жанровой природе этих произведений. Уже современники Набокова обнаружили в романе «Приглашение на казнь» черты утопического жанра. В. Ф. Ходасевич обозначил его термином «противоутопия» [Ходасевич, 2000, с. 132–140]. Утопический элемент в нем отмечает и Г. Адамович [Адамович, 1936, с. 3]. Современникам казалось неожиданным, что Набоков, в творчестве убежденно стоящий «над схваткой», взялся за социальную тему и при этом «опустился» до политической сатиры.

Г. Адамович пишет: «Фабула романа не вполне самостоятельна и оригинальна по замыслу, на ней лежит налет стереотипности, <...> почти что вульгарно-злободневной. Фабула эта достойна бесчисленных романов-утопий, печатаемых в популярных журналах <...> Все это стало литературным «ширпотребом» <...> Все эти кошмарные картины будущего <...> нестерпимо вульгарны» [Адамович, 1997, с. 258]. Однако даже Адамович, главный литературный оппонент Набокова, усомнился в том, что центральной темой этого романа является прогноз на будущее: «Оставим этот плоский вздор сочинителям романов-утопий в грошовых приложениях к журналам, но «не будем заподозривать в таких замыслах истинного художника, Сирина». Адамович делает вывод о том, что фабула романа, скорее всего, не совпадает с его содержанием. Но в чем заключается содержание, он определенно сказать не решился и лишь высказал предположение, что на самом деле это роман — о смерти [Классики, 2000, с. 126].

<sup>1</sup> Только почти полстолетия спустя после его создания — в 1969 г., роман Замятина «Мы» был издан в Англии. Столь же труден был путь к английскому читателю его повести «Островитяне».

Очевидно все же, что Набоков не был нечувствителен к политической атмосфере новой России и Европы, он чувствовал надвигавшуюся катастрофу, трагедию художника в мире агрессивной коллективизации сознания, происходящей повсеместно. Предельное заострение этой тенденции он увидел в советском строе, отношение к которому он высказал в 1927 г. в публицистическом выступлении «Юбилей. К десятой годовщине октябрьского переворота 1917 г.», где он писал об «уродливой тупой идейке, <...> которая из людей делает муравьев», о том, что «во всем большевицком» он чувствует «приторный вкус мещанства»: видит мещанскую скуку на страницах «Правды», мещанскую злобу в политических лозунгах. Коммунизм он определяет как идею понижающего человеческого тип равенства, подавления свободного «я» человека. Россия под этой властью, как он пишет, «поглупела», «расплылась провинциальной глушью — с местным львом-бухгалтером, с барышнями, читающими Вербицкую и Сейфуллину, с убого-затейливым театром...». Интересно, что это определение театра дословно повторяется в тексте его романа «Приглашение на казнь».

Очевидно, что прочитав роман Замятина в конце 1920-х или в начале 1930-х гг., Набоков увидел в нем близкую ему тему. Изображенное в романе Замятина «Мы» будущее совпадало с представлением Набокова о новом строе в России. Единое государство, несмотря на технические достижения, на которых оно держится, представлено у Замятина как провинциальная глушь, всемирное «уездное», где интересы человека предельно ограничены, воспитывается ненависть ко всему, что отличается от стандарта, от принятой «всеми» нормы.

События романа «Приглашение на казнь» происходят в неопределенном времени и в абстрактном государстве, хотя в нем делаются некоторые намеки на эпоху и страну. Герой носит римское имя Цинциннат. Журналы с фотографиями за 1926 год напоминают ему о прошлом, а его матери они кажутся «страшно устаревшими». В городе не видно автомобилей, по улицам едут повозки, запряженные лошадьми. Единственное развлечение жителей — «убого-затейливый театр». Конкретное место действия — тюрьма, которая находится за пределами города в неприступной крепости, герой романа — ее единственный узник. По некоторым признакам становится ясно, что это не тюрьма, а сумасшедший дом. Еще одна система образов указывает на то, что все происходящее — театральная постановка на провинциальной сцене, создаваемая безумным режиссером. Герой романа — преступник мысли, безумец, ищет выхода из этого страшного бутафорского мира в мир реальный. Выход видится ему, с одной стороны, в смерти, а с другой, в создании собственного мира, в котором он стал бы единственным демиургом и повелителем, одиноким королем.

В романе «Мы» в символической форме тоже присутствует тема безумия: его герой D-503 на протяжении событий романа является преступником мысли. Он пытается укрыться от власти общества и государства в собственном воображаемом мире, где он открывает для себя тайну любви, жажду свободы и общения с природой, познает запретное для всех граждан прошлое. В Едином Государстве всякое проявление нестандартности объявляется болезнью. К болезням относится само по себе наличие души, фантазии, желание испы-

тать любовь как индивидуальное чувство, в отличие от всем дозволенного, дозированного розовыми талонами секса. За отклонениями от нормы следят хранители-соглядатаи, а также все граждане, добровольно помогающие агентам сыска: соседи, друзья, коллеги по работе. Медицинским бюро герой признан умственно больным, но больным он оказывается только потому, что на время стал нормальным человеком. Героя Замятина с помощью операции на мозге насильственно излечивают от вредных фантазий. Герою Набокова в качестве исцеления предписано отсечение головы.

Тема конфликта личного и массового сознания тесно связана с мотивом безумия в романтической литературе всех времен. «Только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни», — пишет Шестов в книге «На весах Иова» [Шестов, 1975, с. 103]. Эта фраза могла бы стать эпиграфом к социальным романам Набокова. В его романах живые люди в мире марионеток кажутся сумасшедшими. Но проблему усложняет то, что они действительно являются безумными. Безумен Цинциннат: он обладает феноменальной интуицией, но в приложении к реальному миру она его постоянно подводит. Это же можно сказать и о философе Круге. Герои могут прозревать истины мира иного, но при этом не ориентируются в мире обыденном, у них потеряно чувство реальности. Преувеличенное сознание собственной значимости создает для них иллюзии и заманивает их в ловушки. Они прозревают за иллюзорным миром жестокого социально-психологического кошмара какую-то иную реальность, с точки зрения которой все видимое «не имеет значения». Но к реальной жизни это прозрение неприменимо.

Постоянными мотивами романа Замятина являются единообразие и прозрачность. В архитектуре, жилье и одежде, в мыслях и интересах жителей Единого государства все унифицировано. В киносценарии, написанном по этому роману для Голливуда (рукопись датирована 15 июля 1932 г.), Замятин подчеркивает это единообразие: «Геометрически-правильный город. Огромные, *прозрачные* кубы-дома из «нового стекла»: видно, как внутри их движутся в десятом, в двадцатом этаже люди, как будто плавающие на этой высоте в воздухе. Одинаковы все дома; одинаково обставлены одинаковые комнаты; одинаково одеты их обитатели» [Замятин, 1989, с. 129–133]. Единообразие в городе будущего достигается искусственными средствами, в нем все сделано машинами, природа из него изгнана: деревья, животные и птицы остались за *прозрачной*, но нерушимой стеной.

В «Приглашении на казнь» Набокова концепт прозрачности является одним из лейтмотивов. «Прозрачности» требует от граждан государство, где живет Цинциннат, который, в отличие от всех, не пропускает лучей света. И как бы ни притворялся он «сквозистым», прибегая к «сложной системе оптических обманов», ему не удастся скрыть свою «непроницаемость». За это его всю жизнь преследуют соглядатаи и доносчики. Его преступление заключается в «гносеологической гнусности»: он носит в себе какую-то личную тайну, недоступен для понимания, он не любит того, что любят все.

Если у Замятина образ прозрачных домов наделен кубистической зримостью, объемностью, то у Набокова прозрачность обретает фантастические черты: человек виден насквозь не в переносном, а в буквальном смысле. Набоков применяет приемы диссоциации материи, характерные для модернизма,

он переосмысливает метафору: у него прозрачны уже не дома, а души. Однако у Замятина понятие «прозрачности» тоже имеет метафорическую подкладку и подразумевает отсутствие тайн в душе, полную открытость внутреннего мира для посторонних глаз. «Прозрачность» у него также является символом общепринятых суждений и законопослушного поведения.

В романе Замятина в архитектуре и технике используется стекло, созданное по технологиям будущего: оно обладает абсолютной прозрачностью и несокрушимой прочностью, из него делается стена, которой обнесен город, из него строятся жилые дома и межпланетный летательный аппарат. Стеклянная стена — символ безжизненного «комфорта»: человек отгораживается от реального мира и создает искусственный, удобный, но при этом мертвый мир.

Интересно, что в «Философии хозяйства» С. Н. Булгакова (1912) обнаруживается предвосхищение и замятинского образа стеклянной преграды, отделяющей человека от природы и реального мира, и излюбленного набоковского приема «системы зеркал». Булгаков пишет о философии германского идеализма: «Между субъектом и объектом воздвиглась, казалось, невидимая, но непроницаемая стеклянная стена, целая система зеркал. Надо было ударом мощной руки разбить эту стеклянную стену и лишь таким путем прорваться к объективной действительности» [Булгаков, 2009, с. 95]. В этой же работе есть предвосхищение орудия казни в замятинском романе. Булгаков пишет, что в системе Фихте субъект «заключен под стеклянным колпаком с выкачанным воздухом» [Там же, с. 94]. В изображении расправы с мятежниками в романе «Мы» этот образ материализован: бунтарей помещают под стеклянный колпак и выкачивают воздух, если они не сознаются в преступлении, пытка заканчивается смертью. Ряд символов и метафор у Булгакова отражает несоместимость творчества, в том числе технического, с механизацией жизни. Условие творчества — «свобода изволения и мощь исполнения. Творчество вне свободы есть *contradictio in adjecto*, ибо несвободное творчество есть не творчество, но механизм, работа машины» [Там же, с. 175].

В романах Набокова можно найти немало деталей, которые указывают на впечатление, произведенное на него чтением романа «Мы», а может быть и связанное с общими источниками. На первый взгляд эти детали малозначительны и кажутся случайными. Однако, поскольку ряд указанных произведений Набокова имеет отчетливо символическую природу, здесь каждая деталь значима. Например, в повести «Истребление тиранов» рассказчик выражает свою ненависть к режиму в геометрической терминологии: «Как я ненавижу тупость, квадратность», в геометрических образах он представляет тирана: «Простой белый куб, который дают в младших классах, мне кажется его портретом, его лучшим портретом, быть может. Кубический, страшный...».

Замятинский кубизм был отмечен и разобран уже его современниками. В повести «Островитяне» в кубической манере дается портрет главного героя мистера Кембла, а в романе «Мы» кубистическая манера приобретает самодовлеющий характер. Вторая глава романа называется «Квадратная гармония» — в ней герой восхищается красотой марширующих шеренг и работой станков — машинным «балетом».

Символика геометрических форм присуща именам героев романа «Мы» и «Bend Sinister», хотя в произведении Набокова она имеет несколько иное наполнение, но их внешнее сходство очевидно. Героиня Замятина носит бук-

венно-цифровое обозначение О-90, героиню «Bend Sinister» Набокова зовут Ольга. Имена героя и его жены символизируют замкнутость их семейного круга, и в то же время в фамилии «Круг» выражена личная замкнутость и самодостаточность героя. «Волосатые руки» также выдают родство героев Замятина и Набокова, обличая «незаконнорожденность» живого природного человека — и D-503, и Адама Круга — среди мертвых душ. Герой Замятина, как сообщается в его биографии, наполовину — «мефи», лесной человек. На незаконнорожденность Адама Круга указывает само название романа (в переводе на итальянский — «I Bastardi», на немецкий — «Das Bastardenzeichen», на голландский — «Bastaard»), хотя понятие «незаконнорожденности» столь же приложимо к узурпатору Падуку.

Схождение «социальных» произведений Набокова с романом Замятина проявляется в автобиографичности центральных героев и в сатирическом изображении интеллектуальной элиты, которая, по всей видимости, является главным коллективным героем у обоих писателей. Оба автора смотрят на эту элиту не со стороны, а изнутри, так как их герои принадлежат к ней по своему статусу. Герой романа «Мы» — шаржированный автопортрет Замятина, автопародия, а события романа — пророческое предсказание собственной судьбы. В киносценарии Замятин пишет: «D-503, очевидно, один из талантливейших инженеров своей эпохи и как будто один из самых типичных представителей механизированного, «счастливого» человечества». D-503 тоже инженер, и даже «кораблестроитель», а в социальном смысле — по сюжету — тоже «еретик». Стать таким, как все, ему мешает талант, незаконная жажда свободы и индивидуальной человеческой любви, а более всего — «порочная» наследственность (происхождение от «мефи», в этом образе исследователи усматривают мефистофелевский дух).

Герои «социальных» романов Набокова также автопортретны, проработка образа отрешенного от обыденности художника, писателя, ученого, в них гротескно детализирована. Герой «Приглашения на казнь» выявляет свою уникальность в сравнении себя со «всеми»: «Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря...». Все богатство способов познания мира его дух получает от чувственных ощущений тела, и эта восприимчивость «гениальна», в чем-то сверхчеловечна. Цинциннат безнадежно одинок, у него даже язык особый, никому не известный: «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека».

Основная драма в романе «Приглашение на казнь» происходит в сознании героя: центральное событие — его «пробуждение»: он по-новому оценивает свое положение в мире как трагедию художника и живого человека в чужом и страшном мире искусственно созданной обыденности. Оказавшись в тюрьме, он начинает понимать, что его обычная жизнь тоже была тюрьмой, что окружающие его люди были его гонителями, судьями, тюремщиками. Он осознает, что этот мир «сработан посредственными людьми» и что его нельзя принимать всерьез. Ему открываются признаки «сделанности» этого видимого мира: тот, кто казался человеком, оказывается куклой, марионеткой, в лучшем случае плохим актером, а все вещи, в том числе город и страна, — бутафорией.

Новой ступенью самосознания героя является открытие о том, что тюрьмой для него является не только крепость, где его держат, и не только абсурдный внешний мир, но главным образом — его собственное сознание, привычка мыслить общепринятыми представлениями, подчиняться общим правилам. Власть повседневного мира над сознанием героя порождена его верой в этот мир и страхом порвать с ним связь. Он признается адвокату (а может быть, врачу): «Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории — хотелось бы проснуться». Идея пробуждения от сна жизни, от автоматизма повседневного существования, поиск выхода в подлинную реальность — отсылают читателя к эзотерическим учениям, которые, как показали набоковеды, занимали не последнее место среди интеллектуальных интересов писателя.

Узловые моменты внутренних духовных процессов героя отражены в потоке сознания, в воспоминаниях и записках, в дневниковой исповеди. Сущность «исправления» или «излечения» Цинцинната заключается в том, что он должен перед неизбежной смертью раскаяться в своем индивидуализме и признаться, что хочет быть как все, проявить к своим тюремщикам симпатию и благодарность, чтобы они наконец признали в нем «своего»: «если бы он сейчас честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами. . . ». Конец «Приглашения на казнь» перекликается с исходом внутренней драмы героя «Мы» по противоположности: D-503 радуется своему исцелению и возвращению в строй коллектива: «И я надеюсь, мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить».

Проблема «я» и «мы» просматривается в ряде других произведений Набокова. В рассказе «Облако, озеро, башня» (1937) показано, как в полицейском государстве далекий от политики человек оказывается во власти организации. Отправляясь на досуге в путешествие, герой попадает в цепкие лапы туристического агентства и принужден делать только то, что предусмотрено правилами. Он хочет, например, в одиночестве помечтать на берегу озера, полюбоваться облаками и башней, но это не входит в план маршрута, по которому его насильно тащат.

В рассказе «Истребление тиранов» (1936) изображен безымянный диктатор с узнаваемыми чертами «отца народов». Место действия — Зоорландия. Герой-рассказчик был знаком с диктатором в юности и теперь одержим чувством вины, что не истребил его вовремя. Однако в процессе изложения этой истории рассказчик приходит к пониманию, что диктатор существует не только в реальной действительности, что он живет в его собственном сознании, «существует в нем самом», «питается его ненавистью». Таким образом, чтобы убить тирана, необходимо истребить самого себя, свое обыденное сознание, которое верит в необходимость и неистребимость диктаторов. Это самое реалистическое из «социальных» произведений Набокова, где анализируется не столько технология власти, сколько психология конформизма, создающая почву для диктатуры. Здесь речь по большей части идет о внутреннем мире человека, о его сознании, привязанном к миру, о необходимости «выдавливаться в себе по капле раба».

Цель романа «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных») не столько в политической сатире на «режим», сколько в показе трагической судьбы творческой личности в современном мире. Роман был задуман в начале 1940-х годов, но опубликован только в 1947. В нем изображено полицейское государство, основанное на безраздельной деспотии ничтожной посредственности. Действие происходит в условной стране Синистербад, в городе, носящем имя диктатора Падукоград. В романе раскрыта психология воли к власти ущемленного, «подпольного» человека — диктатора Падука. Его режим опирается на рабские инстинкты как массового человека, так и интеллигенции. Набокова снова занимает исключительная личность и ее взаимоотношения с тоталитарным социумом.

Автобиографичность центрального персонажа очевидна, хотя портрет опирается не на биографические факты, а на типологию личности. «Индивидуалистическая позиция» главного героя — Адама Круга проявляется еще в школе: он никогда не участвует в собраниях, дискуссиях, партийных группировках, что вызывает недовольство директора школы. Непокорного ученика наказывают поначалу только явной несправедливостью, заниженными оценками. Директор — «либерал со здоровым левым уклоном» — требует, чтобы «все мальчики следовали своим социальным и экономическим инстинктам», он приветствует вступление в любую партию, и не может простить одного — отсутствия общественных интересов, нежелания вступить в какую бы то ни было организацию. За школой следует университет — придаток к политическому курсу, приспособляющийся к любому режиму. «Президент» университета, по его признанию, за свою долгую жизнь успел «разделить большинство из политических идей».

В то время как Адам Круг готовится стать философом, его бывший одноклассник Падук делает политическую карьеру. Он создает «Партию Среднего Человека», а в качестве ее идейной программы использует теорию «эквивализма», всеобщего уравнивания. Уравнивание достигается новейшими методами: равным «распределением ума» между всеми. Оценку умственных способностей осуществляет Партия «эквилистов», которая объявляет самыми умными наиболее ничтожных и бездарных людей, стремящихся к власти или готовых служить режиму. Пресса активно распространяет эти оценки, внедряя их в сознание масс средствами рекламного гипноза.

В отличие от «Приглашения на казнь», где живой герой был противопоставлен марионеткам, в романе «Bend Sinister» героя окружают как будто похожие на него люди — профессора университета, ученые. Обширный класс обывателей, составляющий главную социальную почву режима, находится «за кадром». Бунтующая личность главного героя противопоставляется не массе, не толпе, а высоколобой элите. Анализ политического режима в романе по сути является не социальным, а психологическим и даже психиатрическим. Тоталитаризм оценивается как «больная жизнь», мир, изуродованный политическими варварами. Причем по логике романа ответственность за распространение этого заболевания лежит на интеллектуальной элите.

Философ Круг, который высказывает любимые мысли автора, воспринимается читателем как второе «я» Набокова и, следовательно, как положительный герой. Но в конечном итоге выясняется, что Круг — это еще одна

управляемая «марионетка», со своими «рукоятками» — слабостями, привязанностями, посредством которых режим может им легко манипулировать. Не исключено, что образ Круга — это в какой-то мере исповедальное признание писателя также и в своих собственных слабостях. Шаржированный автопортрет, саморазоблачения автора сближают «Bend Sinister» Набокова с романом «Мы» Замятина, герой которой также является автопародией, а сам роман зашифрованной в символах исповедью.

Однако очевидно и то, что герои романов «Мы» и «Bend Sinister» — это не полные автопортреты, а только карикатуры. D-503 одновременно и похож на автора, и является его антиподом. В отличие от своего создателя, D-503 не борец: он порождение Единого Государства и его пассивная жертва, в нем воплощается «энтропийное начало»: стремление к покою, «оседлости» — все то, с чем писатель отчаянно сражался. Замятина мы знаем совсем другим по его поступкам, по его кредо, с отчаянной смелостью высказанному в эссеистике и в письме И. В. Сталину. В эссе «Я боюсь» он пишет: «Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики» [Замятин, 1988, с. 411]. «Еретики и скептики» — образ из философско-символического шедевра Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», однако Замятин наполнил его новым содержанием, почерпнутым из личных переживаний. «Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры — ересь: завтра — непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп...» [Там же, с. 407].

Главной его ценностью был человек: «завтрашний человек», «великое человеческое завтра»; свойством характера — «выбирать линию наибольшего сопротивления»; главным принципом — правда, даже если она неудобна для себя самого и для окружающих. Он пишет Сталину: «У меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству» [Там же, с. 169]; и повторяет в интервью: «Никогда и ни перед кем не пресмыкался и не стеснялся писать то, что мне казалось правдой» [Лефевр, цит. соч., с. 257]. Здесь и высказана суть проблематики романа «Мы», которую писатель по понятным причинам не мог выразить ни в статьях в европейских журналах, ни в предисловии к французскому переводу.

Однако и в самом романе «Мы» во всей полноте нашла отражение бунтарская позиция писателя: только ее выразителем является не D-503 — рассказчик, который неизбежно приковывает к себе внимание как главный герой, а другой персонаж, скрывающий автора. «Женский номер» I-330 воплощает в себе высшее «я» Замятина, его человеческий идеал. В то же время это женственная творческая сторона души писателя: его Anima. Героине присущи качества, которые писатель особенно ценил в людях: чувство собственного достоинства, независимость, рыцарское благородство, честность, готовность душу положить за други своя. I-330 идет до конца в борьбе со «всемством», тогда как D-503 возвращается в состояние духовного рабства. Героиня несет в себе замятинскую веру в человека и в подлинный — духовный — прогресс, она высказывает его любимые идеи: о еретичестве, бунтарстве, революции,

а также энтропии, мешанстве, конформизме. Отрывок из ее монолога о «последнем числе» дается в качестве эпиграфа к эссе «О литературе, революции, энтропии и прочем». Это — любимая мысль самого Замятина. Буквенно-цифровой код ее имени I-330 напоминает его инициалы, если изобразить их прописью (ЕИЗ) и перевернуть букву «Е» на 180 градусов. Однако и без этого шифра автобиографичность персонажа со всей очевидностью раскрывается в сюжете романа.

В романе «Мы» выразилась антиномичность мышления и мирочувствия Замятина. Он — поклонник научно-технического прогресса и в то же время обличитель власти машины над человеком, революционер — и критик большевизма, «безбожник» — и «страдающий атеист». Несмотря на декларируемый атеизм, главные ценности жизни он находил в традиционных евангельских идеалах правды-истины и любви к ближнему. В любви, в умении ценить личность человека и его свободу он видел условие расцвета литературы: «Только тогда, когда мы вместо ненависти к человеку поставим любовь к человеку, — придет настоящая литература». Будущее он представляет не как «время животного довольства», а как «время огромного подъема высочайших человеческих эмоций, время любви» [Замятин, 1988, с. 453].

У Набокова принципиально иной идеал: неприкосновенность индивидуального творческого мира, привилегированное положение художника. Его высшая ценность — гениальное «я» творческой личности. Если Набоков все же принимал существующий мир, хотя и на условиях, для него удобных, то бунтарство Замятина было реальным жизненным риском, решимостью дорого платить за свои убеждения. На политический режим Набоков смотрит как художник, а не как политический публицист или социальный мыслитель. И эта «оптика» во многом была задана Замятиным. Для Набокова, как и для Замятина, важен «вечный», метафизический характер проблемы, и поэтому они создают не социальные памфлеты, а символические философские притчи о взаимоотношениях «я» и «мы», где «я» — художник или поэт, свободный мыслитель и творческая личность, а «мы» — «все мы», «всемство», живущее и как в массовом сознании «среднего человека», так и в личном сознании интеллектуала и творческого человека.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mirsky D.* Contemporary Russian Literature: 1881–1925. London; New-York, 1926.
2. *Nabokov V.* Strong Opinions. McGraw-hill Book Company, 1973.
3. *Struve G.* 25 Years of Soviet Russian Literature: 1918–1943. L.: Routledge, 1944; 1946.
4. *Zamiatin E.* Nous autres. B. Cauvet-Duhamel (trans.). Paris: Gallimard, 1929.
5. *Zamiatin E.* We. Authorised Translation from the Russian by Gregory Zilboorg. New York, E. P. Dutton & Co, 1924. First printing, December 1924; second printing, March 1925.
6. *Адамович Г.* Владимир Набоков // В. Набоков. Pro et contra. Т. 1, СПб., 1997.
7. *Адамович Г.* Перечитывая «Отчаяние» // Последние новости. 1936. 5 марта.
8. См. также: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве В. Набокова. М., 2000.
8. *Булгаков С. Н.* Философия хозяйства. М., 2009.
9. Воля России, 1927, № 1.
10. *Замятин Е.* Незаконченное // Новый журнал. 1989. № 176.

11. *Замятин Е.* О литературе и искусстве / Публикация А. Тюрина // Новый журнал. 1990. № 178.
12. *Замятин Е. И.* «Завтра» (1919) // Там же. С. 407.
13. *Замятин Е. И.* Мы. Роман // Воля России, 1927, № 1–4.
14. *Замятин Е. И.* Письмо И. В. Сталину (1931) // *Замятин Е. И. Я боюсь.* Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. и коммент А. Ю. Галушкина. Вступ. ст. В. А. Келдыша. М.: «Книга», 1999.
15. *Замятин Е. И.* Сочинения. Из литературного наследия / Послесл. М. О. Чудаковой, коммент. Евг. Барabanова. М., 1988.
16. *Замятин Е. И.* Цель (1927) // *Замятин Е. И. Сочинения.* Из литературного наследия. М., 1988.
17. *Замятин Е. И. Я боюсь* (1921) // *Замятин Е. И. Сочинения.* Из литературного наследия. М., 1988.
18. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве В. Набокова. М., 2000.
19. *Левфевр Фр.* Один час с Замятиным, кораблестроителем, прозаиком и драматургом (1932) // *Замятин Е. И. Я боюсь.* Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / Сост. и коммент А. Ю. Галушкина. Вступ. ст. В. А. Келдыша. М., 1999.
20. *Набоков В. В.* Набоков В. В. — Струве Г. П. 2 декабря 1932 г. // Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве. Часть вторая (1931–1935). Публ. Е. Б. Белодубровского и А. А. Долинина // Звезда, № 4, 2004. [Электронный ресурс] URL: <http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=69>.
21. *Набоков В. В.* Соч. амер. периода. В 5 т. Т. 1. Спб. 1997.
22. *Ходасевич В.* [Рец. на изд.] Современные записки. Кн. 60 // Возрождение. 1936. 12 марта. № 3935. См. также: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве В. Набокова. М.: НЛЮ, 2000.
23. *Шестов Л.* На страшном суде (последние произведения Толстого) // Шестов Л. На весах Иова. Странствования по душам. Париж, 1975.

Поступила в редакцию 12.02.2015

А. Е. ШАПИРО

## «ПАМЯТЬ, ГОВОРИ» В. НАБОКОВА: ОБРАЗЫ МИНУВШЕГО В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА ПИСАТЕЛЯ

В статье рассматривается роль памяти как ключевого элемента поэтики В. В. Набокова (на примере его автобиографической прозы), анализируется набоковская «теория» времени и пространства.

*Ключевые слова:* Набоков, время, пространство, мемуары, художественный прием.

Наиболее ярко характеристики времени в понимании В. Набокова проявляются в воспоминаниях. Исходя из этого, представляется логичным рассмотреть его автобиографические произведения. При этом необходимо учитывать, что мемуары Набокова — это не типичный пример автобиографической прозы. Прежде всего, это произведения искусства, сполна оправдывающие максимально высокие эстетические требования, предъявлявшиеся самим писателем к повествовательной художественной прозе. Феноменология набоковских художественных «мемуаров» семантически объясняется тем, что хроникально-воспоминательный подтекст повествования в гораздо большей степени подчинен воображению, нежели историческому архиву во всех его проявлениях. Собственно, для Набокова воображение — это особая форма памяти. В одном из своих интервью он недвусмысленно заявляет: «Говоря о ярком личном воспоминании, мы делаем комплимент не своей способности к запоминанию, но мистическому предвидению Мнемозины, сохраняющей ту или иную подробность, которая может понадобиться творческому воображению» [Набоков, 2002, с. 194]. Многие «воспоминательные» по духу опусы писателя свидетельствуют о том, что заявленная мысль — часть его внутреннего, неписанного — не только эстетического, но и этического — манифеста, своеобразная форма философско-поэтического исповедания.

К их числу весьма показательных с точки зрения упомянутых выше критериев относятся романы «Conclusive Evidence» (Убедительное доказательство, 1951), в британском варианте названный «Speak, Memory» (русскоязычная версия «Другие берега», 1954) и «Speak, Memory: An Autobiography Revisited» (Память, говори, 1967).

Формальная разница между этими произведениями на первый взгляд

незначительна. Разночтения касаются, главным образом, собственных имен и отдельных стилевых моментов. Нас в первую очередь интересует отношение Набокова к его очевидному «соавтору» — памяти, явственно персонафицированной, как если бы это была не принадлежащая всецело создателю текста психологическая функция, а нечто «отделившееся» от него, духовно самостоятельное. Набоков не ссылается на память, как на безжизненный «архив» мыслей, событий и чувств. Скорее он взывает к ней, обращается, как к свидетелю, знатоку и судии. Одно из пробных названий романа «Speak, Mnemosyne». Мнемозина здесь, с одной стороны — мистическое воплощение древнегреческой богини памяти, с другой — объект лепидоптеристической «страсти» писателя — бабочка. От этого названия писатель в итоге отказался, решив в пользу более однозначного, семантически точного — «Память, говори». Но сама по себе «история» наименования сочинения говорит о многом.

В романе «Ада» есть строки, которые опосредованно характеризуют самого Набокова: «Гениальный обладатель всеобъемлющей памяти» [Набоков, 1997, с. 522]. Именно это свойство писатель демонстрирует в своих автобиографических произведениях. В отличие от повествования «Ады», где герой помнит и осознает себя в семимесячном возрасте, Набоков начинает свою художественную *историю памяти* с четырехлетнего возраста. Это было таинство Крещения, в котором он осознал свое родство с родителями. Заметим здесь, что писатель, получивший в детстве христианское воспитание, довольно рано отошел от Бога и церкви. Вспоминая чувство родства с родителями в момент Крещения, он не трактует его как первый в жизни проблеск богообщения. Но сам факт того, что своеобразной «точкой опоры» в его странствовании по лабиринтам собственной памяти является важнейший для христианина момент жизни, свидетельствует, на наш взгляд, о том, что при всем своем трансцендентном скептицизме Набоков признает: источники его памяти, как и всякой жизни, надматериальные, мистические.

По своему идейному направлению, с точки зрения восприятия и толкования времени и пространства, роман «Память, говори» очень близок четвертой части романа «Ада, или Радости страсти», в которой наиболее полно излагаются постулаты набоковской «теории времени». Сравним некоторые из возникающих смысловых параллелей.

«Память, говори» открывается абзацем, который позднее практически слово в слово войдет в роман «Ада»: «Колыбель качается над бездной, и здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя вечностями тьмы. Хотя обе они — совершенные близнецы, человек, как правило, с пущим спокойствием вглядывается в бездну преджизненную, чем в ту, к которой летит (со скоростью четырех тысяч пятисот ударов в час). Я знавал, впрочем, юношу-хронофоба, испытавшего едва ли не панику, просматривая домашнего производства фильм, снятый за несколько недель до его рождения. Он увидел почти не изменившийся мир — тот же дом, тех же людей — и вдруг понял, что его-то в этом мире нет вовсе и никто по нем не горюет» [Набоков, 1999, с. 325]. Метафора щели перенесена в более позднее произведение, как одна из ключевых для понимания набоковского взгляда на концепт времени и памяти. Прошлое и будущее воспринимаются писателем как своеобразные метафизические пустоты. При этом именно к

прошлому, но не к будущему человек может относиться с сочувствием. Набоков испытывал явный интерес к изучению «хронофобии». Это довольно распространенная в XX столетии форма душевного недуга, проявляющегося в боязни времени. Заметим, что классическое толкование хронофобии фиксирует психоэмоциональный статус личности, находящейся в одном месте длительное время. В интерпретации же Набокова, хронофоб страдает от самого *осознания времени*. Подобное толкование далеко от каких бы то ни было медицинских штудий. По Набокову, хронофобией в XX веке страдают не только внешне «изолированные» индивидуумы (например, заключенные), но и многие из тех, кто находится в широком коммуникативном пространстве. Писатель убежден, что боязнь времени сопутствует многим людям с повышенной чувствительностью, не свойственной ординарному человеку, но чаще всего провоцируется кризисом самосознания личности в пространстве. Вполне возможно, что Набоков и себя относил к числу «хронофобов» подобного толка. Будучи утонченным художником, он, бесспорно, обладал неординарным чувственным восприятием, позволявшим ему видеть мироздание своеобразным «рентгеновским» зрением, переживать боль и радость *самого времени*. Отсюда и повышенное желание чувственно и мыслительно подчинить себе время и память, то есть сделать их основными художественными средствами для выражения самого сокровенного в литературе. В «Аде» мотивы хронофобии находят воплощение в опытах главного героя Ван Вина. Так, в своей врачебной практике тот считает наиболее интересным именно случай с пациентом, страдающим боязнью времени. Отчасти этот недуг и сподвиг главного героя «Ады», а возможно и самого Набокова, заняться углубленным исследованием феномена времени и его воздействия на человека.

Позднее Набоков возвратился к идее о «ключевых» моментах жизни, на которых основывает свою работу память: «Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг» [Там же, с. 331]. В третьей части второй главы романа писатель рассказывает о своей матери и ее *бережном отношении к прошлому*. Находясь в семейном поместье Выра, мать обращала внимание сына на важные в ее понимании вещи. Это были как будто бы малозначительные элементы внешнего интерьера усадьбы — жаворонки, «клинопись птичьей прогулки на снегу». Набоков намекает, что его учили не просто видеть и чувствовать красивое, но и помнить его. Писатель свидетельствует, что именно от матери он унаследовал свой особый дар видения: трепетное отношение к прошлому. Рассказы матери он называет «отметинами и зарубками» — совсем как ключевые события жизни. Здесь вестниками событий или напоминаниями служат вещи, вызывающие воспоминания о прошлой жизни — прошлой в переносном смысле, то есть жизни в России, где семья была еще в полном составе и счастлива, жизни навсегда для писателя потерянной, существующей лишь в его памяти.

Само творчество Набокова началось с одного такого момента погружения в неизбежность прошлого: «Следующий миг стал началом моего первого стихотворения. Что подтолкнуло его? Кажется, знаю. Без единого дуновения ветерка, один только вес дождевой капли, сияющей в паразитической роскоши на душистом сердцевидном листке, заставляет его кончик кануть вниз, и

подобие ртутной капли внезапно соскальзывает по его срединной прожилке, и лист, обронив яркий груз, взлетает вверх. Лист, душист, благоухает, роняет — мгновение, за которое все это случилось, кажется мне не столько отрезком, сколько разрывом времени, недостающим ударом сердца, сразу вернувшимся в перестуке ритма: говорю “в перестуке”, потому что когда и впрямь налетел ветер, деревья принялись все разом бодро стряхивать капли, настолько же приблизительно подражая недавнему ливню, насколько строфа, которую я уже проборматовал, походила на потрясение от чуда, испытанное мною в миг, когда сердце и лист были одно» [Там же, с. 501]. Здесь следует обратить внимание на важный для Набокова и его концепции времени и памяти вывод: фрагментарность памяти, жидущейся на мгновениях, выхваченных из жизни, полных блаженства, суммируемых в душе — это и есть подлинность судьбы. В очередной раз сталкиваемся здесь с «текстурным» пониманием времени, в котором значение имеет не столько его течение, сколько прерывание этого течения.

В эпизоде, где Набоков описывает последнее пристанище матери в Праге (после отъезда из России) есть интересная сентенция: «Она едва ли нуждалась в них [фотографиях], ибо ничто не было утеряно. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и продуваемую ветрами вересковую пустошь, и замок в тумане, и очарованный остров, — так она носила в себе все, что отложила душа» [Там же, с. 352]. Память — главное достояние эмигранта, ведь именно в ней сохраняется тот мир, в котором он жил по-настоящему, подлинно. В России *осталось* истинное счастье этой семьи. Его и пытался «ухватить», продлить, воспроизвести, но никак не инсталлировать или «гальванизировать» Набоков во многих своих произведениях, очевиднее всего — в автобиографических опусах. Писатель не раз замечает за собой какую-то природную склонность к возрождению образов прошлого, мучительный и прекрасный дар помнить: «Всю мою жизнь я со страстной энергией оживлял ту или иную часть былого и полагаю, что эта почти патологическая острота памяти — черта наследственная» [Там же, с. 375]. Похоже, что этим даром обладали оба родителя художника — люди творчески весьма одаренные. Вполне возможно, что их острая память вызвана не только известными биографическими обстоятельствами, но — и это гораздо важнее — особым творческим духом, царившем в семье.

Уже в первой главе романа «Память, говори» Набоков размышляет о вечности. Эта таинственная и страшная «субстанция» воплощает для Набокова пустоту, поскольку устремлена в будущее. Писатель отмечает, что взрослый человек по замыслу природы должен быть равнодушен к подобным «пустотам», точно так же, как он одинаково относится к виду, простирающемуся впереди и сзади. Но человеку свойственен страх по отношению к «будущему», в котором его (человека) нет. Набоков скорее игнорирует, но не исключает вовсе эту очевидную антиномию. Отчасти это может быть связано с восторгом, который по Набокову у нас вызывает жизнь, пусть лишь в отдельные ее моменты. Но даже в эти редкие мгновения, которые, как замечает Набоков, являются «яркими кубиками восприятия, по которым память уже может карабкаться, почти не соскальзывая» [Там же, с. 326], человек испытывает вспышки такого *невыносимого* восторга, что даже самое богатое воображение

не может предположить в пустоте какое-либо будущее. К этой мысли писатель возвращается и позже, отрицая, например, что во сне, пусть и «общаясь» с умершими близкими людьми, мы имеем возможность заглянуть за пределы своей жизни. Единственное, когда подобное возможно, считает писатель — это минуты радости и блаженства. «Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, совсем не похожи на себя, дорогих, ярких. Я встречаюсь с ними без удивления, в обстановке, в которой они никогда не бывали при жизни, — например, в доме у кого-то, с кем я подружился потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно не там и не тогда, не в этих снах, дается смертному случай заглянуть за свои пределы, — с мачты, из минувшего, с его замковой башни, — а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи. И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно» [Там же, с. 352] .

Весьма показательны в плане сущностно-временных ориентиров Набокова его яркие воспоминания о собственной гувернантке. Возрождая в памяти ее образ, он недвусмысленно ставит под сомнение христианское толкование мученической жизни, во всяком случае, в том виде, в котором мученичество понимают обыватели. Пребывание в состоянии постоянного *не счастья* не является, по Набокову, дорогой к бессмертию души. Как уже отмечалось, скорее моменты полного счастья приблизят человека к бессмертию. «Всю жизнь она провела, ощущая себя несчастной; это несчастье было прирожденной ее стихией, его колебания, его переменчивая глубина одни только и создавали у нее впечатление движения и жизни. И вот что тревожит меня — этого ощущения несчастья и только его недостаточно, чтобы создать бессмертную душу. Моя огромная, хмурая Mademoiselle вполне уместна на земле, но невозможна в вечности. Удалось ли мне выручить ее из сочиненного мира?» [Там же, с. 413]. Писатель честен в своем неприятии «благодати извне», «свыше», поскольку всякое «свыше» для него сопряжено с эфемерностью и бессмысленностью будущего. Отсюда и память он олицетворял напрямую с бессмертием. Для него именно время наивысшего счастья способно оставаться в памяти навечно. Здесь не место рассуждать о трансцендентной обоснованности (приземленности или возвышенности) подобного, как может показаться, утилитарного толкования вечности. Гораздо важнее отметить то, что Набоков в принципе не может (или не желает) избежать самого прикосновения к этой «проклятой» для него теме.

Схожим образом можно интерпретировать одно весьма резкое высказывание писателя о времени: «Признаюсь, я не верю во время. Этот волшебный ковер я научился так складывать, попользовавшись, чтобы один узор приходился на другой. Пусть спотыкаются посетители. И высшее для меня наслаждение вневременности — это наудачу выбранный пейзаж, где я могу быть в обществе редких бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется все, что я люблю в мире. Чувство единения с солнцем и скалами. Трепет благодарности, обращенной *to whom it may concern* (всем заинтересованным

лицам, перевод. — А. Ш.) — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливец» [Там же, с. 434]. Писатель мог иметь в виду, что категорично не принимает линейное толкование времени, поскольку дар творца позволяет ему подчинять себе память, воссоздавать прошлое так, как ему хочется и изменять настоящее, создавая свою собственную реальность, которая вызывает чувство восторга и блаженства. Иными словами он стремится управлять временем, а не подчиняться ему слепо.

Набоков характеризует «бесконечное время», как шарообразную тюрьму, из которой нет выхода. Человеческое сознание не способно пролить луч света ни в одну из темных полостей этого бесконечного «чудовища» — ни в прошлое, существовавшее до появления того или иного человека, ни в будущее, которое возможно после его смерти.

Здесь важно еще раз заметить, что Набоков был атеистом, но, безусловно, атеистом не в общепринятом смысле. Его мать была верующей, православной, и воспитывала в этих традициях будущего писателя. При этом глубоким, мистическим пониманием сути религии, как и многие представители ее класса в России той поры, она не обладала. Будучи ребенком, Набоков, судя по всему, не находил ответов на интересовавшие его метафизические вопросы. Писатель вспоминает: «Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе, — это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего» [Набоков, 2000, с. 161–162]. Все-таки в самом тоне этих воспоминаний чувствуется уважение не только к особенностям материнского «исповедания веры», но и трепетное отношение к таинственному, непостижимому для писателя, при этом — чистейшему источнику этой веры.

Вера в некую высшую трансцендентную силу очевидна во многих произведениях Набокова. Не будем останавливаться на многочисленных упоминаниях слова «Бог» или связанных с религией терминов и символов в его лирике — все это может оказаться ложными признаками его «религиозности». При этом в одном из интервью на вопрос о вере в Бога он ответил так: «Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего» [Набоков, 2002, с. 157]. Из этого утверждения становится ясным, что Набоков в своем метафизическом мирозерцании близок к агностицизму. Это подтверждается на страницах набоковской прозы довольно часто.

Рассказывая о своем дяде — Василии Ивановиче Рукавишникове — писатель отмечает, что тот был человек «со странностями», привыкший к неврастеническим припадкам, психологическим проблемам, решение которых искал в религии: «От других, более странных терзаний, донимавших дядю во всю его короткую жизнь, он искал облегчения — если я правильно понимаю эти вещи — в религии: сначала в какой-то отрасли русского сектантства, а потом в католичестве. Его красочной неврастении полагалось бы совмещаться с

гением, но этого не случилось, отсюда и попытки ухватиться за какую-нибудь преходящую тень». [Набоков, 1999, с. 375] Религия в ее церковно-конфессиональном и тем более обрядовом выражении для Набокова — «переходящая тень», что-то неуловимое. Несмотря на несколько ироничный и даже циничный тон атрибуции религиозности, чувствуется, что писатель все же не исключал реальность существования некоей высшей силы, которая способна влиять на душевное бытие человека, во всяком случае — воздействовать на страждущую душу утешительно и благотворно.

В сложную философско-этическую ткань «Память, говори» неслучайно вплетены такие слова: «Я готов стать единоверцем размалеванного до последней крайности дикаря, радостно разделив с ним убеждение, что тьма эта создана лишь стенами времени, отделяющего от вневременья меня и мои ободранные кулаки» [Там же, с. 326]. В «Других берегах» та же мысль звучит следующим образом: «Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь» [Там же]. Идея стать приверженцем какой-либо религии или культа для писателя казалось слишком радикальной, чуть ли не жертвенной. Но это была та жертва, которую писатель не хотел или не способен был принести, пожертвовав заодно и своим внутренним стремлением к полной свободе от «заданности» хроноса. Не звучит ли здесь, пусть и косвенно, скрытое чувство страха смерти, физического небытия?

Смерть — глобальная тема, требующая отдельного (относительно набоковской поэтики) исследования. Здесь заметим лишь, что физическая смерть в произведениях писателя, как правило, связана с непосредственной потерей, с уходом конкретного человека с идеей тотального физического расставания. В «Даре» герой отказывается верить в смерть отца, поскольку это означает невозможность их воссоединения ни в настоящем, ни в будущем. Этот мотив связан, безусловно, с личной драмой писателя, потерявшего отца в юном возрасте<sup>1</sup>. Мотив смерти любимого человека присутствует практически в каждом произведении автора: Люсетта в «Аде», жена и сын Адама Круга в «Под знаком незаконнорожденных», Анабель Ли в «Лолите», сын в пьесе «Событие» и т. д. Во всех этих произведениях смерть героя безвозвратна, то есть никакое метафизическое соединение с близкими «за гробовой доской» не подразумевается, смерть воплощает конец. Набоков сознательно исключает смерть, как инструмент воздействия на формирование каких-либо ощущений вечности, при этом фатальность «разъединения» живущего с умершим все же становится важнейшим критерием самоидентификации автора и его героев во времени и пространстве.

Набоков, склонный к серьезному философствованию, остается, прежде всего, художником, когда размышляет о своеобразных, иногда даже геометрически выраженных «формах» времени. Наиболее распространенные метафорические понятия-символы — шар и спираль. Шар по Набокову воплощает стеклянную тюрьму времени, в которую заключен человек. Именно этим

<sup>1</sup> В 1922 году Владимир Дмитриевич Набоков, видный политический деятель, погиб, заслонив собой П. Н. Милюкова, на которого была совершена попытка нападения черносотенцем.

рассуждением о сути времени и памяти начинается роман «Память, говори». Символика шара включает в себя еще и образ порочного по мысли художника круга, из которого нет выхода. Бессмысленность порождает страх — отсюда и обращение к образам неволи, тюрьмы. Более позитивный чувственный и содержательный подтекст заключает в себе символ спирали. В романах «Ада» и «Пнин», эта «форма» вмещает в себя всевозможные аллюзии жизни: не-прямая последовательность событий, часть которых схожа. Напоминающие друг друга фрагменты жизни являют собой своеобразные «кольца спирали». Возможные при повторах различия позволяют говорить о некоем развитии, а не статической стагнации, которую однозначно, по Набокову, обозначает круг.

В «Память, Говори» писатель вполне определенно истолковывает свою жизнь в образе спирали. Здесь очевиден его посыл к разработке известной гегелевской «триады развития»: тезис — антитезис — синтез. Свою жизнь Набоков предлагает рассматривать через призму этой гегелевской «систематизации»: тезис — рождение и жизнь в России, антитезис — изгнание и жизнь в Европе, синтез — жизнь в Америке. Судьба внесла коррективы в эту стройную концепцию. Набоков вернется в Европу, где и прервется его жизнь. Но на момент написания романа «Память, говори» этот новый виток «спирали» был Набокову неизвестен.<sup>1</sup>

«Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и раскрывшись, круг перестает быть порочным, он получает свободу. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что гегелевская триада (столь популярная в прежней России) в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завои следуют один за другим, и каждый синтез представляет тезис следующей серии. Возьмем простейшую спираль, в которой можно различить три элемента, или загиба, отвечающие элементам триады: назовем “тезисом” первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре; “антитезисом” — дугу покрупнее, которая противопологается первой, продолжая ее; а “синтезом” дугу еще более крупную, которая продолжает вторую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба. И так далее» [Там же, с. 553].

Образ спирали — это еще и обобщенное выражение сокровенного начала в творческом методе художника. Все произведения Набокова, как уже говорилось, объединяются рядом общих тем, таких как время, память, пространство, смерть, процесс творения и т. п. Как у любого большого писателя, у Набокова наблюдается процесс эволюции этих идей. При всех возможных повторениях, краеугольные в поэтике идеи никогда не звучат (не действуют) одинаково, мысль получает развитие на каждом витке спирали.

В «Память, говори» (как и в «Аде») обозначается особенная *осязаемость пространства*. Проявляется эта едва ли не кинетическая осязаемость в постоянном возвращении к мысли о круге, содержащем изнутри спираль.

<sup>1</sup> «Цветная спираль в стеклянном шарике — вот какой я вижу мою жизнь. Двадцать лет, проведенных в родной России (1899–1919), это дуга тезиса. Двадцать один год добровольного изгнания в Англии, Германии и Франции (1919–1940) — очевидный антитезис. Годы, которые я провел на новой моей родине (1940–1960), образуют синтез — и новый тезис. Сейчас моим предметом является антитезис, а точнее — моя европейская жизнь после окончания (в 1922-м) Кембриджа» [Там же, с. 553].

«Молодой рост, стремительность мысли, американские горы кровообращения, — все виды жизненности, суть виды скорости, и неудивительно, что развивающийся ребенок хочет перегнуть природу и наполнить минимальный отрезок времени максимальным пространственным наслаждением. Глубоко в человеческом духе заложена способность находить удовольствие в обгоне, в перетягивании земной тяги, в возможности переиграть притяжение земли. Чудотворная парадоксальность округлых предметов, пожирающих пространство простым постоянством вращения — вместо того, чтобы передвигаться, раз за разом вздымая тяжелые конечности, наверное, радостно потрясала юное человечество. Костер, в который вглядывался, сидя на голых куличках, мечтательный маленький варвар, или неуклонный ход лесного пожара, тоже, полагаю, повлияли за спиною Ламарка на хромосому-другую, повлияли загадочным образом, в который западные генетики не склонны вникать в той же мере, в какой физики-теоретики — обсуждать внешние особенности внутреннего пространства или местонахождение кривизны; ибо каждое измерение подразумевает наличие среды, в которой оно работает, и если в ходе спирального развития мира пространство спеленывается в некое подобие времени, а время, в свою очередь, — в некое подобие мышления, тогда, разумеется, наступает черед нового измерения — особого Пространства, не схожего, верится, с прежним, если только спирали не обращаются снова в порочные круги.

Но в чем бы ни состояла истина, мы с тобой никогда не забудем, на этом или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с нашим маленьким (от двух до шести лет) сыном в ожидании поезда вниз. Я видел, как дети постарше и поунелее останавливаются на миг, чтобы наклониться через перила и сплюнуть в одышливую трубу проходящего внизу паровоза, но ни ты, ни я никогда не признаем, что из двух детей нормальнее тот, кто находит практическое разрешение для бесцельной экзальтации непонятого транса. Ты ничего не сделала, чтобы сократить или наполнить рассудочным содержанием эти часовые стоянки на обдуваемых ветром мостах, когда наш ребенок с безграничным терпением и оптимизмом надеялся, что щелкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдаль, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же шапочкой и варежки, и жар его веры держал его в плотном тепле, и согревал тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только поминутно зажимать то один, то другой кулачок в своей руке, то правой, то левой, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить тело крупного дитяти» [Там же, с. 576]. Столь обширная цитата из набоковского романа необходима и неизбежна, поскольку именно в этом (во многом ключевом в романе) фрагменте Набоков декларирует основополагающий концепт своего жизненного и творческого миропонимания, своеобразный «символ веры» исповедуемой им *религии памяти*: память — это единственный выход из круга, в который постоянно рискует превратиться спираль жизни. Память художника способна сломать порочный круг, позволяя быть творцом нового мира, альтернативного реальному.

На первый взгляд в автобиографических романах Набоков не уделяет подчеркнутого внимания непосредственному толкованию идеи пространства.

Но и здесь художник превалирует над философом: поэтика и даже метафизика пространства как бы закодирована, зашифрована в многомерных метафорах, связанных с истолкованием времени. «Расшифровка» этих кодов приводит к убеждению: очень часто время и пространство сознательно мыслятся Набоковым в своеобразном наложении. В одних случаях подобный микст сродни гармоничному музыкальному контрапункту, в других — и гораздо чаще — воплощает совершенный унисон, то есть полное растворение одного в другом. Набоков, часто подчеркивающий идентичность времени и пространства, вольно или невольно намекает на общий для него *синкретический исток* этих понятий и связанных с ними ощущений. Вот одна весьма показательная в этом смысле «пейзажная зарисовка» писателя: «Дальше по ее [река Оредежь] излучинам, где стрижи вылетают из нор в крутых красных берегах, как бы вырастают в ее воду отражения громадных, романтических елей (окаймляющих нашу Выру); и еще дальше вниз, бесконечная, бурно текущая под водяной мельницей пена вызывает у зрителя (локти положившего на перила) такое чувство, точно он плывет все назад да назад, стоя на самой корме времени» [Там же, с. 373]. Время здесь как бы вмещает в себя пространственную характеристику восхитительного пленера. Находясь в одной точке, на мосту над рекой, мы наблюдаем ее течение, которое представляется движущимся в обратном направлении, или так, как будто сам наблюдающий двигается в противоположном направлении, находясь при этом на одном месте. Все это очень напоминает Набокову одну из важнейших функций памяти: человек находится в каком-то месте (собственно пространство или пространственный интерьер здесь особой роли не играют), в моменте настоящем, но благодаря усилиям памяти возвращается в прошлое, и, если речь идет о художнике, творце, то он не просто возвращается, но и обладает возможностью прожить определенные моменты прошлого заново, воссоздать — восстановить, возродить все, вплоть до пространства и самых тончайших, неуловимых пространственных ощущений. Для верного понимания пространственно-временного мирозерцания Набокова очень важно заметить, что главной чертой его творческого зрения была уникальная способность видеть «сквозь тщательно протертые стекла времени» [Там же, с. 513].

Итак, генеральная, едва ли не единственно значимая категория времени для писателя — это прошлое. Прошлое, по Набокову, становится основным мерилем реальной жизни человека. Автобиографическая проза писателя изобилует виртуознейшими полифоническими конструкциями, в которых, как в гениальных фугах Баха, ощущение бесконечности рождается из согласованного наложения нескольких, казалось бы, «замкнутых на себе», интонационно обособленных линий. В «Память, говори» есть такой очевидный «баховский» эпизод, в котором гармония бесконечности воплощается благодаря искусному сочетанию двух самостоятельных линий: прошлое (детство) и настоящее (родительский дом): «Не знаю, впрочем, так ли уж многое можно сказать в пользу более безболезненной участи, в пользу, допустим, гладкой, спокойной, столь явственной в маленьких городках неразрывности времени, с ее примитивистским отсутствием перспективы, при котором и в пятьдесят еще живешь себе в дощатом домике своего детства и всякий раз, прибираясь на чердаке, натыкаешься на все те же побурелые школьные учебники, так и

застрявшие в позднейших наслоениях мертвых вещей, и жена твоя летними солнечными утрами останавливается на улице, чтобы в который раз вытерпеть минуту-другую в обществе страшной, болтливой, крашенной, влачащейся в церковь миссис Мак-Ги, бывшей когда-то, году в 1915-ом, хорошенькой, шаловливой Маргарет Энн с пахнущим мятой дыханием и проворными пальцами» [Там же, с. 531].

Эстетический изыск, какой бы значительной силой воздействия он не обладал, не может быть чем-то самоцельным и самодавяющим, не становится «краеугольным камнем» в поэтическом пространстве Набокова. При всем своем агностицизме, именно этическое измерение — естественный внутренний барометр набоковской памяти. Иначе трудно объяснить даже такую, казалось бы, мимоходом брошенную мысль: «Если не считать естественного трепета, который испытываешь при возвращении времени, я не получаю особого удовольствия, навещая давние эмигрантские обиталища в этих случайно подвернувшихся странах» [Там же, с. 536].

Одна из глав романа «Память, говори» целиком посвящена поэзии — как наивысшему и наиболее «чистому» из искусств в понимании Набокова. В трактовке писателя только поэтическое искусство может объять необъятное, действительно познать вселенную и выразить это познание словами. Примечательно, что размышляя о поэзии, Набоков противопоставляет не время и пространство, как многим представляется, а диаметрально противоположные мирозерцательные позиции. Пространство становится «предметно» осязаемым при технократическом взгляде на мир, а время — в его поэтическом преломлении — подчинено лишь тончайшему творческому восприятию: «Если ученый видит все, что происходит в одной точке пространства, то поэт ощущает все, происходящее в одной точке времени» [Там же, с. 502]. Писатель говорит о насущной потребности поэта «обладать способностью думать о нескольких вещах зараз. Во время неторопливых блужданий, сопровождавших сочинение первого из моих стихотворений, я столкнулся с нашим сельским учителем, рьяным социалистом, человеком достойным, всей душой преданным моему отцу (я рад вновь поприветствовать этот образ), вечно улыбающимся, вечно потеющим, вечно с тугим букетиком полевых цветов. Чинно беседуя с ним о внезапном отъезде отца в город, я одновременно и с равной ясностью регистрировал не только его увядающие цветы, цветастый галстук, угрей на мясистых закрутках ноздрей, но и долетавший издали унылый голосок кукушки, и блестящую опускающуюся на дорогу полевой перламутровки, и запомнившиеся мне картинки (увеличенные изображения сельскохозяйственных вредителей и портреты бородатых русских писателей) в просторных классах деревенской школы, которую я навещал раза два; и — продолжая перечисление, вряд ли способное передать призрачную простоту процесса в целом, — трепет какого-то вполне постороннего воспоминания (о потерянном мной педомере), выпущенного из соседней клетки мозга; и вкус травинки, которую я жевал, смешивался с кукованием и со взлетом бабочки, и во все это время я полно и безмятежно сознавал многослойность моего сознания» [Там же, с. 503]. Это один из замечательных примеров создания картины «замирания времени» в сознании поэта. Это та самая «святая», по мнению многих больших поэтов, точка отсчета, от которой начинает свое

движение творческий процесс настоящего художника, причем, такой творческий процесс, результатом которого становится переосмысление жизни, создание нового мира.

Самые причудливые, прямые и косвенные коннотации понятий времени, памяти, воспоминаний — ключевые для Набокова, когда он пытается определить источники творческого вдохновения: «Такие вещи как горячие булочки и пирожные, запиваемые чаем после игры, или крики газетчиков: “Пайпа, пайпа!, мешающиеся с велосипедными звонками на темнеющих улицах, казались мне в ту пору более характерными для Кембриджа, чем кажутся теперь. В конце концов я поневоле понял, что помимо ярких, но более-менее преходящих обычаев, в Кембридже присутствует нечто, присущее только ему, более глубокое, чем ритуалы и правила, нечто такое, что множество раз пытались определить его напыщенные питомцы. Мне это коренное свойство представляется постоянством ощущения свободного простора времени. Не знаю, поедет ли кто-нибудь и когда-нибудь в Кембридж, чтобы отыскать следы шипов, оставленные моими футбольными бутсами в черной грязи перед пустым голом, или проследовать за тенью моей шапочки по четырехугольной лестнице моего тьютора, но знаю, что я, проходя под почтенными стенами, думал о Мильтоне, Марвелле и Марло с чем-то большим, нежели трепет туриста. На что ни посмотришь кругом, ничто не было занавешено по отношению к стихии времени, всюду зияли естественные просветы в нее, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде, и поскольку в пространстве тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темная арка, душа, по контрасту, особенно живо воспринимала прозрачную ткань времени, — вот так же море, видимое в окне, наполняет тебя радостью, даже если ты не любитель плаваний. У меня не было ни малейшего интереса к местной истории, и я был совершенно уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; на деле же именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и красками и внутренним ритмом. Полагаю, среда не влияет на живое существо, если только в нем, в этом существе, не содержится уже восприимчивая частица или жилка (все то английское, чем питалось мое детство). Мне впервые стало это ясно перед отъездом, в последнюю мою и самую грустную кембриджскую весну, когда я вдруг почувствовал, как что-то во мне так же естественно соприкасается с непосредственным окружением, как с моим русским прошлым, и этого состояния гармонии я достиг в ту минуту, когда кропотливая реставрация моей восхитительно точной России была наконец закончена. Один из немногих “практических” поступков на моей совести — это то, что я употребил долю этого хрустального материала для получения диплома с отличием» [Там же, с. 548]. Здесь явственно проступает весьма «высокий градус» собственной восприимчивости писателя к окружающему миру, его способность *одним взглядом* охватить огромные временные пространства. Взирая на постройки старого Кембриджа, он видит больше, чем может вместить в себя настоящий миг, он смотрит сквозь плотно сотканное полотно времени и без всякой эзотерики осознает, чувствует присутствие великих предшественников вдохновителя.

Финал романа фиксирует на определенной высоте (в своеобразно кульминационной точке мемуарного повествования) очень важную для Набоко-

ва — линию любви, линии, являющейся естественным продолжением линии памяти. Возникает ощущение, что настоящее, подлинное признание в любви к Вере Набоковой — супруге писателя — осуществляется именно на страницах романа. В своем «любовном послании» Набоков делает время, память и пространство живыми свидетелями, строгими судьями, способными оценить безграничность его чувства: «Когда я думаю о моей любви к кому-либо, у меня привычка проводить радиусы от этой любви, от моего сердца, от нежного ядра личного чувства к чудовищно удаленным точкам вселенной. Что-то заставляет меня примеривать мою любовь к непредставимым и неисчислимым величинам — к поведению туманностей (самая отдаленность которых уже есть род безумия), к ужасным западням вечности, к непознаваемому, скрытому за непознанным, к беспомощности, холоду, головокружительным сложностям и смыслам времени и пространства. <...> Тут ничего не поделаешь, я должен знать, где стою, где стоишь ты и мой сын. Когда этот замедленный и беззвучный взрыв любви происходит во мне, разворачивая свои тающие края и ошеломляя меня сознанием чего-то значительно более необъятного, нетленного и мощного, чем весь набор вещества и энергии в любом воображимом космосе, тогда я мысленно должен себя ущипнуть, не спит ли мой разум. Я должен проделать молниеносный инвентарь мира, — так спящий человек старается оправдать абсурдность положения, в которое он попал, уверенностью в том, что он спит, — должен сделать все пространство и время соучастниками в моем чувстве, смертном чувстве любви, дабы помочь себе в борьбе с окончательным унижением, со смехотворностью и ужасом положения, в котором я мог развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования» [Там же, с. 572].

В очередной раз Набоков воспекает симфонизм земной жизни человека, выражающийся в двуединстве любви и памяти.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Набоков В. В.* Интервью Олвину Тоффлеру, Альфреду Аппелю // Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. М.: Независимая Газета, 2002.
2. *Набоков В. В.* Ада, или радости страсти. Семейная хроника. // Собрание сочинений американского периода в пяти томах. Т. 4. СПб., 1997.
3. *Набоков В. В.* Другие берега // Собрание сочинений русского периода в пяти томах. Т. 5. СПб., 2000.
4. *Набоков В. В.* Память, говори // Собрание сочинений американского периода в пяти томах. Т. 5. СПб., 1999.

Поступила в редакцию 29. 04. 2015

**А. И. ПАРФЕНОВ**

**ФАНТАСТИКА И РОК В ПРОЗЕ А. П. ЧЕХОВА  
(на материале повести «Три года»  
и рассказа «Убийство»)**

В статье рассматриваются мотивы рока и фантастики в прозе А. П. Чехова, в таких, с этой точки зрения, все еще недостаточно изученных произведениях, как повесть «Три года» и рассказ «Убийство». Анализируется особенность примет и предзнаменований у Чехова, их связь с категориями рассудка и страсти. Прослеживается специфика чеховского диалога с романтической традицией и семантико-стилистическая роль «иррациональных» мотивов в художественной структуре целого.

*Ключевые слова:* А. П. Чехов, «Три года», «Убийство», романтизм, фантастика.

Вопрос о романтической традиции в творчестве А. П. Чехова на протяжении последних десятилетий неоднократно становился объектом литературоведческого интереса; связь Чехова с романтизмом находили в эмоциональной приподнятости его произведений [Паперный, 1973], в идеях борьбы и устремленности в будущее [Исупова, 1974], в мечтаниях чеховских героев как соотнесенных «с настоящей действительностью» [С. De Maegd-Soer, 1973]. Проблема сохраняет актуальность и для современного чеховедения: рассматриваются как общие принципы обращения Чехова к культуре романтизма [Одесская, 2011, с. 32–34], так и связь писателя с отдельными романтическими авторами [Николаева, 1994], или, напротив, близость отдельных произведений Чехова к романтической парадигме [Милюгина, 2000]. Не будет преувеличением сказать, что уже сам длительный интерес к вопросу подразумевает его многомерность и актуальность для понимания всего творчества Чехова. Однако, несмотря на значительное количество литературоведческих исследований, некоторые аспекты названной темы до сих пор изучены недостаточно. Применительно к настоящей статье, речь идет, прежде всего, о специфической реализации у Чехова таких романтических категорий, как рок и фантастика.

Проблема фантастического у Чехова (а тем более фантастического как связанного с романтической традицией) до сих пор только поставлена в научной литературе. Обычно о фантастическом в художественном мире Чехова

пишут в связи с повестью «Черный монах»; так, М. Л. Семанова, говоря об этом произведении, определяет чеховскую фантастику как характеризующую и воспринимающего субъекта, и «глубинные возможности, заложенные в объекте наблюдения» [Семанова, 1982, с. 57]. Определяющую роль психологического начала в фантастике Чехова подчеркивает и А. Б. Есин: «Фантастической действительности как таковой нет, есть только действительность реальная. Но эта реальная действительность в восприятии персонажей становится (вернее, приобретает черты) призрачной, фантастической, непонятной» [Есин, 1977, с. 57]. Еще менее достаточно, насколько нам известно, исследована и тема рока (как романтическая тема) в чеховском творчестве: так, Е. Г. Милюгина только упоминает ее среди других романтических мотивов в драме «Иванов» [Милюгина, 2000, с. 128].

Несмотря на ограниченный литературоведческий интерес, фантастические и роковые обертона играют, на наш взгляд, заметную роль в зрелой и поздней чеховской прозе — в частности, в таких все еще недостаточно изученных с этой точки зрения вещах, как повести «Три года» и «Убийство». Определить связь фантастических и роковых обертонов между собой, их место в составе художественной структуры целого, а так же их специфическую — по сравнению с литературой романтизма — реализацию является задачей настоящей статьи.

Наиболее полно мотивы фантастики и рока присутствуют в первых трех главах повести «Три года»; текстуально эти мотивы оформляют такие архетипические категории, как любовь и смерть — любовь Алексея Федорыча Лаптева к Юлии Сергеевне и смерть Нины Федоровны, сестры Алексея Федорыча.

В «реалистической» стилистике начальных глав обращают на себя внимание два эпизода, не вполне соотносящиеся с собственно реалистической (рациональной и описательной) парадигмой. В первом случае мы имеем в виду развернутый перечень «неблагоприятных примет» («разбилась в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно, даже теперь гудел; рассказывали, что из ботинки Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 425–426], предвещающих смерть сестры Алексея Федорыча. Во втором — эпизод, когда Юлия остается дома одна вскоре после объяснения с Лаптевым: «А на дворе была погода нехорошая, беспокойная; дверь дрожала от напора ветра, и в сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше [Там же, с. 436]». Для приведенного фрагмента — на первый взгляд, лишь передающего взволнованное состояние героини — характерен последовательно проведенный мотив иррациональной, таинственной силы. Мотив реализуется как на словесном уровне (эпитет «нехорошая» применительно к погоде несет большую смысловую нагрузку, чем нейтральный «плохая»), а также через образы ветра и задутой свечи с их контекстуальными значениями вторгающегося хаоса, усиленными буквально в следующем предложении — Юлия крестит окна и двери, пытаясь оградить свой дом и себя от неизвестного зла, а с ветром связывается представление о некоторой антропоморфной, хотя и не конкретизированной силе («казалось, что кто-то ходит по крыше»).

Эта сила, находящаяся в непосредственной близости от обжитого, «человеческого» пространства может быть соотнесена (если рассматривать пассаж в историко-культурной перспективе) с угрожающим присутствием демона или беса — отчасти такая трактовка подкрепляется и тем, что Юлия, будучи с детства религиозной, должна вскоре потерять свою веру.

Чтобы полнее понять роль и значение «таинственных эпизодов» в повести Чехова — эпизодов, которые иначе могут показаться слишком локальными и не несущими важной для всего произведения семантической нагрузки — рассмотрим их связь с художественной структурой целого.

Перечень «неблагоприятных примет» — и, следовательно, вполне определенное указание на судьбу Нины Федоровны — возникает в повести почти сразу же после рассказа о ее трагической семейной жизни. Связь между болезнью и любовью при этом подчеркивается достаточно прямо, хотя мотив — с характерной для Чехова субъективацией [Тихомиров, 1986, с. 17] — дан лишь в восприятии героини: «Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы [Чехов, 1960–1964, т. VII; с. 424]». Тема обреченности еще раз возникает почти сразу же, в реплике Нины Федоровны, обращенной к брату: «Нет, уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы [Там же, с. 425]». Примечательно, что здесь отрицается как рациональное воздействие («доктора»), так и иррациональное («старцы») — «предопределенность» героини раскрывается максимально сжато и вместе с тем полно. Одновременно в этой же реплике упоминается Юлия и забытый ей зонтик — образ, возникающий в повести несколько раз и сотнесенный с влюбленностью Алексея Федорыча [Белкин, 1973, с. 222], влюбленностью тоже трагической и безответной. Соответственно можно предположить, что иррациональный «пассаж с приметами» в мотивной структуре произведения связывается, прежде всего, с темой страсти, понимаемой как роковая, разрушительная стихия, довлеющая над человеком. Эту же тему — на другом, «понятийном» уровне — раскрывают и размышления самого Лаптева: «он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить» [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 419], «милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь» [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 429].

Фантастические обертона и мотив роковой страсти позволяют предположить определенную соотнесенность с романтической традиций, для которой указанные категории являются принципиально важными [Сакулин, 1990, Манн, 1995]. Так, диалектическая интерпретация страсти в «Фрегате “Надежде”» А. А. Бестужева-Марлинского, когда движимый любовью герой оказывается «одновременно свободным и не свободным в своих действиях» [Манн, 1995], находит определенные параллели во влюбленности Алексея Федорыча, и неспособного противостоять своему чувству, и в полной мере сознающего его обреченность. Что же касается собственно примет, то аналогии возможны здесь, в частности, с повестью О. М. Сомова «Юродивый» — видения Мельского (неотступно возникающий образ юродивого, рушащиеся стены [Сомов, 1984, с. 90–91] играют роль все тех же иррациональных знаков судьбы, резко противопоставленных бытовому, повседневному фону и связан-

ных опять-таки — хотя и косвенно — с любовной тематикой. В тоже время принципиально важно отметить, что романтические аллюзии присутствуют у Чехова внутри сложной мотивной структуры, позволяющей встроить их в новые отношения, раскрыть и актуализировать присущий им внутренний потенциал: так связь между приметам и трагической страстью не является прямой и допускает множество промежуточных значений, объединенных, однако, общим пессимистическим тоном и гносеологическим скептицизмом.

Если в случае с Алексеем Федорычем и Ниной Федоровной «фантастический» пассаж выражает иррациональность любовной страсти, то в случае с Юлией можно говорить о противоположенном подходе: сразу за словами о ветре и потухшей свече следует совершенно прагматическое размышление героини о плюсах и минусах брака с Лаптевым. Соответственно, иррациональная образность в этом месте оформляет именно рассудочную деятельность человека, которая в результате трактуется как столь же сомнительное, роковое начало, что и «не рассуждающая» страсть. В последних строчках третьей главы этой теме подведен итог: «Ей (Юлии. — А. П.) трудно было идти против ветра, она едва шла, придерживая обеими руками шляпу, и ничего не видела от пыли (курсив мой. — А. П.) [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 438]». Попытка ориентироваться в жизни исходя из «общих представлений» [Катаев, 1979, с. 87–88] оказывается абсолютно несостоятельной — на уровне образного строя это продемонстрировано еще до того, как герои вступают в брак.

Подобное использование фантастики также находит аналогии в литературе романтизма: так, по Ю. В. Манну, рассказ В. Ф. Одоевского «Черная перчатка» строится на переносе акцента с собственно фантастического на примитивно-рациональную деятельность человека: «страшное — не столько во вторжении ирреальной силы, сколько в систематизме — воспитании, основанном «на практических правилах» [Манн, 1988, с. 62].

Диалог Чехова с романтической традицией получает специфическое развитие в последующих главах. Если фантастические обертона играют здесь меньшую роль, то тема рока претерпевает заметное изменение: семейная жизнь Лаптевых, вначале изображавшаяся как совершенно несчастная, в тринадцатой главе, напротив, показана в определенной гармонии. «Он умный, честный человек, и для моего счастья этого достаточно» [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 485] говорит Юлия о муже, вполне искренне выражая свои чувства к нему. Эта гармония, впрочем, длится совсем недолго, до смерти их ребенка от дифтерита, но некоторые ее следы сохраняются и в финале повести, хотя в этом случае угасшими изображаются уже чувства обоих супругов. Еще важнее намечающаяся во второй части произведения влюбленность в Юлию Ярцева [Полоцкая, 2001, с. 29]. Можно предположить, что образ девушки в исторической фантазии последнего о половцах (персонаж как раз возвращается домой после вечера, проведенного на даче у Юлии) является первым свидетельством возникшего чувства. Если такое допущение верно, то любовная тема решается теперь не столько в категориях иррационального и рока, сколько в опять-таки романтической парадигме национального, творческой свободы и воображения. Примечательно в этом плане и упоминающееся в размышлениях Ярцева стихотворение Лермонтова «Сон»: «Все чего-то жалко, все чего-то хочется и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и

снится мне бал» [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 495]. «Сон» с его центральной темой любви, преодолевающей смерть [Венцлова, 2012, с. 349], здесь как бы акцентирует возможность сильных чувств, не связанных с трагической предопределенностью. И хотя финал остается открытым, намек на возможность счастья в нем хорошо различим: «Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей (Юлии. — А. П.) навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенным» [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 510]. Тема рока мыслится Чеховым — в отличие от романтиков — как тема локальная, способная описать лишь определенные моменты и явления человеческой жизни, но не всю ее целиком.

Романтические аллюзии — несмотря на свое ограниченное присутствие в тексте — играют в повести «Три года» принципиальную роль: Чехов резко снижает традиционную тему роковой страсти (страсть приводит не к смерти персонажей, но всего лишь к несчастному браку), локализует и вместе с тем развивает проблему иррационального и хаотического в человеческих отношениях, обозначая в качестве ее источника как собственно страсть, так и прагматический расчет. При этом художественная структура целого апеллирует не столько к фатализму, сколько к так же характерному для романтической эстетики принципу «борьбы и проведения» [Бестужев-Марлинский, 1958, с. 564]; возможно, не будет большим преувеличением сказать, что именно подобная связь с романтизмом вносит значительный вклад в атмосферу «взволнованного ожидания будущего», которой, по словам З. С. Паперного [Паперный, 1960, с. 124], проникнута повесть Чехова.

Рассказ «Убийство», опубликованный в том же, 1895 году, обнаруживает значительное усиление фантастических и роковых мотивов при сохранении схожей художественной структуры, подразумевающей локализацию начал иррационального и фатального, их смену в финале открытой и динамичной картиной мира.

Метель, упоминающаяся уже в самом начале рассказа [Чехов, 1960–1964, т. VII, с. 31], буквально через несколько страниц раскрывается как образ, несущий ярко выраженные иррациональные, фантастические коннотации. «Мороза не было, и уже таяло на крышах, но шел крупный снег; он быстро кружился в воздухе, и белые облака его гонялись друг за другом по полотну дороги» [Там же, с. 34]. В этой фразе, открывающей эпизод о возвращении Матвея домой, можно выделить семантику стихийного движения и отметить показательную персонификацию природных реалий — «облака снега» выступают как самостоятельные субъекты действия, становятся своеобразным олицетворением иррациональных сил; романтическая и фантастическая семантика образа акцентируется в следующем абзаце, когда кружащийся снег сравнивается с «ведьмами на шабаше» [Там же]. Отчетливо различимый иррациональный подтекст имеет и образ мужика на санях — сани появляются внезапно и совершенно неожиданно исчезают, оставляя у Матвея ощущение необъяснимого страха [Там же]. По сути, вся сцена с возвращением Матвея может быть понята как связанная с рядом неопределенных, но безусловно негативных предзнаменований; тема рока оформляется здесь совершенно романтической образностью, будь то возникающие в сравнении «ведьмы» или описание странной встречи.

С еще большей отчетливостью мотив предопределенности (и связанный с ним фантастический образный строй) развивается в следующих абзацах, когда Матвей оказывается в трактире Терехова. «А вверху над потолком тоже раздавались какие-то неясные голоса, которые будто угрожали или предвещали дурное. <...> Теперь там стучал и гудел ветер, и казалось, что кто-то бегал, спотыкаясь о балки» [Там же, с. 35]. Как и в рассмотренном выше эпизоде с Юлией, речь идет о присутствующей в непосредственной близости от человеческого жилья таинственной силе — в обоих случаях «сила» находится сверху, на крыше или втором этаже, т. е. в доминирующей, господствующей позиции. В настоящем случае, однако, акцентируется фаталистическая тематика — связь между «голосами» и приближающимся несчастьем заявлена непосредственно, а не на уровне сложных интонационных сближений и мотивных рифм, как это было в повести «Три года». Примечательно, что трактир Тереховых и дальше описывается в романтическом ключе как таинственное, роковое место: «темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и *безотчетной тревоги*, как будто в этом дворе жили *колдуны или разбойники* (курсив мой. — А. П.)» [Там же, с. 41]. Мотив предопределения вообще очень широко представлен в «Убийстве»: он закрепляется и развивается как через повторяющиеся упоминания странного присутствия на втором этаже [Там же, с. 44, 55], так и через непосредственное соотнесение мыслей и чувств персонажей с окружающим дисгармоничным миром [Там же, с. 44, 48] или даже с демоническим началом [Там же, с. 47, 49].

Подобное нагнетание трагических предчувствий и предзнаменований вновь заставляет вспомнить некоторые образцы романтической литературы, такие как «Страшную месть» Гоголя или трагедию А. С. Хомякова «Ермак», с характерной для них темой рока, сопряженной с фантастическими (в той или иной степени выраженными) эпизодами. Предзнаменования у Чехова — в отличие от романтиков — всегда даны лишь в восприятии персонажей (мы не знаем, померещилось ли нечто герою или было на самом деле) и являются, в этом смысле, менее отчетливыми, однако их роль в структуре целого — указания на фатализм и иррационализм — остается сопоставимой.

Специфика романтического пласта в «Убийстве» полнее обозначается в финале рассказа. «Простая вера» [Там же, с. 59], открывшаяся после всего произошедшего Якову Иванычу, подчеркнута не конкретизируется, не описывается как догматическая система — акцентируется лишь ее «антропологическое» измерение: «И хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от гибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день» [Там же]. В отличие от предшествующей религиозной практики, построенной на строгом систематизме и сопряженном с ним самодовольстве, теперь на первый план выступает желание жизни как таковой и связи с другими людьми, — желание, отмеченное, впрочем, едва заметным и в контексте вполне понятным эгоистическим тоном («прожить без страданий хотя бы один день»). Несмотря на то, что стремления Якова условны и к тому же совершенно неосуществимы, они имеют значение в плане внутренней эволюции персонажа; тема иррациональных и роковых начал, довлеющих над человеком, его внутренним миром и его действиями, в результате утрачивает актуальность. Как это ни странно на первый взгляд, образ штормового моря в финале «Убийства» (сам по себе, разумеется, очень

мрачный) все же имеет и некоторые — условно говоря — «положительные» обертона. Море оказывается здесь звукопорождающим, эмоциональным и динамичным, как бы без конца становящимся началом, дающим простор для воображения: «он (Яков. — А. П.) вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд...» [Там же]. Последняя в рассказе фраза о начинающемся шторме, по сути, определяет возможность нарастающей трагической динамики и в дальнейшем. Образ моря в результате отчасти сближается со «свободной стихией» романтиков и образует своего рода композиционную рифму к внутренней эволюции Якова. ИмPLICITно присутствующие в романтической культуре темы рока и противостояния року заостряются и сводятся в единое диалектическое целое — метод, для самой романтической литературы не вполне характерный; диалог Чехова с предшествующей традицией вновь выступает как вполне оригинальный и содержательный.

Чтобы полнее понять значение романтических мотивов в повести «Три года» и рассказе «Убийство», логично соотнести эти произведения с «Черным монахом», вещью, имеющей ключевое значение для вопроса о фантастике в творчестве Чехова.

Чехов в «Черном монахе», как пишет М. П. Громов, «нашел путь к воплощению идейной одержимости не в слове персонажа, но в художественном образе, почти зримом, почти реальном» [Громов, 1989, с. 268]. Иными словами, фантастическое начало в повести связывается, прежде всего, с присущим личности негативным потенциалом и шире — с психологическим измерением вообще. Образ черного монаха строго отграничен, он имеет отношение только к сознанию Коврина и, в этом смысле, фантастический элемент, казалось бы, широко представленный в повествовании, отличается некоторой локальностью. В «Трех годах» и «Убийстве», напротив, роль фантастического и фатального носит более сложный характер. Фантастические образы здесь в меньшей степени соотнесены с сознанием персонажей — хотя и подаются, как мы помним, в рамках субъективного восприятия — и апеллируют к некоторым общим, внеличностным, особенностям жизни и мира. Так, в случае с повестью «Три года» говорить о «идейной одержимости» неправомерно в принципе (рассуждения Юлии явно не могут быть так определены, Лаптев же испытывает именно страсть, лишенную какой-либо идейной составляющей), а в «Убийстве» фантастическая образность возникает именно в то время, когда Яков начинает осознавать неудовлетворенность своей верой. Более того — фантастика здесь не всегда жестко связывается с сознанием Якова, сама по себе лишена идейной нагрузки и в целом не столько подталкивает к преступлению, сколько устанавливает общую атмосферу трагизма и неопределенности. Фантастическая образность в этих вещах при кажущейся — по сравнению с «Черным монахом» — локализации получает большую смысловую нагрузку, она привязана теперь не только к внутреннему миру человека, но, косвенно, к миру вообще, описывает не только некоторую конкретную личность, но и присущие универсуму закономерности. Поэтому с известной долей условности можно говорить о принципиальной роли иррациональных и роковых мотивов не только в «Черном монахе», но и в упомянутых выше произведениях и даже о своеобразном «семантическом усилении» в них этой тематики.

Как мы видим, начала иррационального (фантастического) и фатального, будучи даны у Чехова лишь в «восприятии персонажей» [А. Б. Есин], все же получают в художественной структуре целого вполне самостоятельную роль, определяют саму стилистику чеховских произведений как имеющую точки соприкосновения со стилистикой романтической. Сложный диалог с традицией, подразумевающий, с одной стороны, «истончение» и локализацию романтической образности, а с другой — ее возрастающую семантическую насыщенность, — такой диалог, без сомнения, является одной из важных особенностей Чехова как писателя, создавшего, по словам В. Б. Катаева, «неповторимое сочетание из открытого до него, но бывшего на периферии прежних художественных систем» [Катаев, 1979, с. 69].

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. Статьи и разборы. М., 1973.
2. Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в двух томах. Т. II. М., 1958.
3. Венцлова Т. Собеседники на пиру. Литературоведческие работы. М., Новое литературное обозрение, 2012.
4. Громов М. П. Книга о Чехове. М., 1989.
5. Есин А. Б. Фантастика у Чехова и Салтыкова-Щедрина. // Чехов и его время. М., 1977.
6. Исупова Г. А. А. П. Чехов. // Русский романтизм. М., 1974.
7. Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979.
8. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. М., 1995.
9. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1988.
10. Милюгина Е. Г. Драма А. П. Чехова «Иванов» и романтическая традиция. // Чеховские чтения в Твери. Тверь, 2000.
11. Николаева С. Ю. Поэты-романтики в творческом сознании А. П. Чехова (Е. А. Баратынский). // Романтизм: эстетика и творчество. Сб. научных трудов. Тверь, 1994.
12. Одесская М. М. Чехов и проблема идеала. М., 2011.
13. Паперный З. С. А. П. Чехов. Очерк творчества. М., 1960.
14. Паперный З. С. Чехов и романтизм. // К истории русского романтизма. М., 1973.
15. Полоцкая Э. А. О поэтике Чехова. М., 2001.
16. Сакулин П. Н. Филология и культурология. М., 1990.
17. Семанова М. Л. О поэтике «Черного монаха» А. П. Чехова. // Художественный метод А. П. Чехова. Межвузовский сборник научных трудов. Ростов-на-Дону, 1982.
18. Сомов О. М. Были и небылицы. М., 1984.
19. Тихомиров С. В. Природа в сознании героев А. П. Чехова. // Вестник Моск. университета, серия 9 филология, №4. М., 1986.
20. Чехов А. П. Собр. соч. в двенадцати томах. М., 1960–1964.
21. К. де Магд-Созн. Романтические элементы в творчестве Чехова. Bruxelles, 1973.

Поступила в редакцию 03.11.2014

О. Л. СОЛОДКОВА

## **ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ МЕНЬШИНСТВ В ИНДИИ НА ПРИМЕРЕ ХРИСТИАН-ДАЛИТОВ.**

В статье рассматривается положение христианской общины в Индии, рост которой идет в основном за счет евангелизации далитов, выходцев из каст «неприкасаемых». После крещения положение далитов-христиан еще более осложняется: они продолжают подвергаться дискриминации со стороны индуистского большинства, государства и членов самой христианской общины. Однако это не останавливает рост числа христиан в Индии, что приводит к обострению их взаимоотношений с индуистскими националистическими организациями.

*Ключевые слова:* христианство в Индии, далиты, Амбедкар, гонения на христиан, касты и кастовая проблема, дискриминация христиан-далитов

Более 500 лет различные христианские церкви и конфессии направляют усилия на евангелизацию Индии. Первые активные попытки крестить местное индийское население принадлежат католической церкви, которая по просьбе короля Жуана III учредила в 1553 г. отдельную епархию в Гоа с юрисдикцией над огромной территорией от Мыса Доброй Надежды до Китая и Японии [Гризингер, 2004, с. 94–95]<sup>1</sup>. На смену католическим миссионерам пришли протестантские, а позднее представители независимых христианских церквей.

Начиная с XVI века, серьезным препятствием распространению христианства в Индии была кастовая система. Для индуиста бог человека вне касты не может быть богом человека, принадлежащего касте. Человек вне касты по своему социальному статусу оказывался ниже неприкасаемых, вне общества, по сути дела изгоем. Принять веру «паранги»<sup>2</sup> и бога людей вне касты означало для индуса полный разрыв со своим образом жизни и своим окружением. Невежество португальцев и католических миссионеров, не признававших каст, и не понимавших их значения для индуистского сообщества, пугало и отталкивало индийцев от крещения. Серьезным тормозом в принятии новой веры было также то, что христианство являлось религией пришельцев и колонизаторов, и процесс евангелизации на добровольной основе проходил

---

<sup>1</sup> Об этом упоминает также О. В. Волосюк, хотя в этой статье речь идет о евангелизации Японии. [Волосюк, 2014, с. 27]

<sup>2</sup> «Паранги» в Гоа называли португальцев. Более подробно [Солодкова, 2012].

с большим трудом. Миссионеры ставили своей целью окрестить в первую очередь феодальную верхушку индийского общества, но она пользовалась в индуистском сообществе привилегированным положением, и процесс обращения этой прослойки шел очень медленно и тяжело.

Новая религиозная доктрина, базирующаяся на равенстве людей перед богом, была востребована в Индии прежде всего у представителей тех каст, которые либо хотели повысить свой социальный статус, либо получить защиту от эксплуатации местных феодалов. «Апостол Востока» Франциск Ксавье, который провел в Индии три года и крестил касту неприкасаемых рыбаков и ловцов жемчуга «паравас», относящуюся к самым низам индуистского сообщества, отмечал в письме от 27 марта 1544 года, что «эти люди <...> невежественны и грубы, не умеют читать и писать, только называются христианами, а не являются ими в реальности» [The Letters, 1992, p. 77]. При этом смена вероисповедания рассматривалась, прежде всего, как перемена подданства, поскольку наиболее угнетаемая часть индуистского общества, приняв католицизм, переходила под юрисдикцию португальской короны. Крещение было выгодно обеим сторонам: португальцы получили возможность вытеснить арабских скупщиков жемчуга, а рыбаки — защиту от местных феодалов [Зурапов, 2008, p. 15]. Поскольку перед миссионерами была поставлена задача окрестить как можно больше туземцев, процесс евангелизации в то время проходил достаточно упрощенно и, в результате, пройдя через обряд крещения, новообращенные не имели понятия о сути веры и не знали ни одной молитвы. Даже Франциск Ксавье чаще всего использовал метод «общего крещения», когда над толпой туземцев совершали таинство и через переводчика объявляли им, что они стали христианами.

Вопрос глубины восприятия христианской доктрины новообращенными поначалу просто не стоял, а позднее попал в сферу действия инквизиции в Гоа. Все это не стимулировало, а тормозило процесс евангелизации, и в тех небольших анклавах на полуострове Индостан, где католическая церковь действовала на протяжении нескольких столетий, крещение приняло лишь около 30% населения [Viswanath, 2014, p. 45].

Еще одним препятствием для смены вероисповедания была проблема совместимости доктрины христианства и индуизма. К ней неоднократно обращался еще выдающийся русский лингвист и философ, один из теоретиков и политических лидеров евразийства князь Н. С. Трубецкой (1890–1938). По его мнению, «благодаря крепко укоренившимся в религиозном сознании Индии о переселении душ и об <аватарах> (воплощениях) Вишну проповедь Евангелия в Индии психологически невозможна, ибо представление о Сыне Божьем, пришедшем во плоти, у всякого индуса немедленно вводится либо в ряд <других> воплощений <бога> Вишну (среди которых имеются и случаи воплощения в тело животного — льва, рыбы и дикой свиньи), либо естественный круговорот переселения душ, и, таким образом, воплощение Сына Божьего сразу перестает быть тем неповторяемым, одновременным актом космического значения, каким оно является для христианина» [Трубецкой, 1991, с. 143].

Вопросы совместимости христианской доктрины с индуизмом, в основе которого лежит идея, что судьба любого человека предопределена совокуп-

ностью его дел в прошлой жизни, были рассмотрены в работах российских индологов Р. Б. Рыбакова и А. А. Куценкова<sup>1</sup>.

Этой проблеме уделяют серьезное внимание современные католические и протестантские миссионеры [Ballhatchet, 1998; Frykenberg, 2008; Viswanath, 2014]. Все они сходятся в том, что индуист может принять крещение только ценой глубочайшего внутреннего усилия, когда новообращенному приходится фактически отказаться от основ всей своей культуры и образа жизни, в результате очень часто неопит оказывается не готов пожертвовать рядом традиционных привилегий, а реальность, с которой он сталкивается, оказывается совсем не радужной. Если раньше, на протяжении веков, индуизм отличался спокойным отношением к другой религиозной традиции, то сейчас это положение кардинально изменилось. Стремительный рост религиозных меньшинств стал восприниматься как серьезная угроза религиозному единству страны. Причем особую опасность индуистские националисты видят в росте христианской и мусульманской общины, считая их идеологию чужеродной, привнесенной извне, связывая ее с прошлыми военными и колониальными захватами.

Несмотря на эту напряженность, в последние десятилетия процесс евангелизации Индии идет более быстрыми темпами и количество христиан в стране постепенно растет. Причем если, как мы уже упоминали, в XVI–XX вв. кастовая система была серьезным тормозом процесса христианизации, то в настоящее время именно пережитки кастовой системы являются стимулом для принятия новой веры. Крещение готовы принимать наиболее эксплуатируемые и забытые слои индуистского общества, которых относят к выходцам из «зарегистрированных каст» и «зарегистрированных племен»<sup>2</sup>, так называемые далиты.<sup>3</sup> Эта прослойка индийского общества достаточно многочисленна, по некоторым оценкам составляет более 200 млн. человек, и именно она становится тем полем борьбы, где действуют миссионеры различных христианских конфессий и представители националистических индуистских организаций.

«Далиты», выходцы из каст «неприкасаемых», по разным оценкам составляют от 16 до 20% Индии (если вместе с ними учитывать представителей племен населения), причем это далеко не однородная группа в этническом

---

<sup>1</sup> По их мнению, яркой особенностью индуизма является жесткая социальная структурализация общества, закрепляющая каждого индуиста в отдельный коллектив (касту), где он получает представление о социальном неравенстве, которое является религиозным фундаментом иерархической структуры. Рождение человека запрограммировано в определенной касте и ему требуется добросовестно следовать предназначению, любое отклонение от него ведет к наказанию в последующем рождении или к изгнанию, что равносильно социальной смерти. Поэтому крещение для неопита — это коренной разрыв со всем своим окружением и образом жизни. [Рыбаков, 1970; Куценков, 1980].

<sup>2</sup> Под «зарегистрированными кастами» понимаются прежде всего далиты, бывшие касты неприкасаемых, а под «зарегистрированными племенами» — автохтонное население, проживающее в отдаленных лесных и горных районах, находящихся на уровне раннеклассовых обществ.

<sup>3</sup> Далиты — «надломленные», «разобщенные», «неприкасаемые», «попираемые ногами», на хинди — «ачхут» — неприкасаемые.

плане, ее представители говорят на разных языках и имеют свои культурные особенности<sup>1</sup>.

В «Законах Ману<sup>2</sup>» — в древнеиндийском сборнике предписаний благочестивому индуисту, говорится о том, что так называемые «чандалы» — низкорожденные, которые могут «погубить прикосновением» [Законы Ману 1992, с. 43], находятся за пределами основных четырех варн и не относятся к «дваждырожденным», их часто называют «собакоедом», что подчеркивает их крайне низкий социальный статус и нечистоплотность. Им запрещено слушать Веды, входить в храм, иметь собственность, жить вместе с представителями других каст в одной деревне, брать воду из одного колодца. Эти люди вынуждены подчиняться строгим правилам, чтобы не осквернить представителей высших каст: нельзя коснуться одежды брахмана, бросить взгляд на его еду, поскольку, «на что они посмотрят при приношении на огне, при дарении, трапезе, при жертвоприношении богам и предкам, — то пропадет без пользы» [Там же, с. 43], не разрешается даже просто идти рядом с представителями высших каст по одной дороге. Они выполняют самую грязную работу: убирают нечистоты, стирают белье, чистят рыбу, свежуют животных, обмывают покойников. Женщин из этих каст зачастую используют как танцовщиц при храмах и вынуждают заниматься проституцией. Традиционно эти люди всегда рассматривались как необходимые, но маргинальные элементы религиозной общины. Контакт с ними требовал немедленного очищения и омовения, даже тень далита могла осквернить.

Попытки решить проблему «неприкасаемых» предпринимались еще в колониальный период, когда лидеры индуистской общины стали вести агитацию против их дискриминации. Известные востоковеды Ф. Н. Юрлов и Е. С. Юрлова в своей монографии «История Индии. XX век» отмечают, что изменить отношение к выходцам из низших каст и «провести это решение в жизнь оказалось исключительно сложным, поскольку высшие касты, по существу, не рассматривали неприкасаемых как своих единоверцев, их ортодоксальная часть упорно отказывалась признавать неприкасаемых в качестве индусов и даже требовала не включать их в состав индусской общины при проведении переписей населения» [Юрлов, Юрлова, 2010, с. 146].

Основной проблемой было то, что «почти все видные лидеры национально-освободительного движения, философы и реформаторы действовали в рамках веданты или большой санскритской традиции» [Там же, с. 147], и не могли отказаться от варнового и кастового деления индуистского сооб-

<sup>1</sup> Советские и российские востоковеды неоднократно обращались к изучению истории варнового строя, кастового деления индийского общества, низших каст и далитов. В 1980-90-е годы видными российскими индологами А. А. Куценковым и М. К. Кудрявцевым были опубликованы фундаментальные исследования кастового деления общества в Индии, в которых подробно рассматривается история возникновения низших каст и неприкасаемых. В своих статьях Юрлова Е. С., освещая политическую борьбу по проблеме позитивной дискриминации в Индии и анализируя проблемы мусульманского религиозного меньшинства, затрагивает проблемы далитов, бывших неприкасаемых. [Куценков, 1983; Кудрявцев, 1992; Юрлова, 2003, 2007].

<sup>2</sup> «Законы Ману» — сборник поучений и рекомендаций по применению правовых норм, основанных на «священном откровении» — «Ведах», сложившийся в период со II века до н. э. — II век н. э., предназначенный для представителей высших каст.

щества. Махатма Ганди видел решение проблемы в изменении отношения к неприкасаемым на бытовом уровне, не выделял их в отдельную курию и не выступал за предоставление им каких-либо привилегий. Он верил в демократическое развитие общества и оптимистично считал, что в ходе его эволюции негативное отношение к неприкасаемым исчезнет само собой. Ганди называл неприкасаемых «хариджанами» или «детьми Бога», заходил к ним в дома и принимал с ними пищу, пытаясь своим примером изменить отношение к ним, рискуя при этом потерей собственной касты. Однако даже революционный по тем временам пример Ганди, хотя и подрывал традиции дискриминации низших каст, не изменил коренным образом их положение в обществе в целом. Хотя Махатма искренне верил, что отношение к ним изменится путем эволюции морали, этот путь невозможно было пройти за несколько десятилетий после достижения независимости. Его оппонент, лидер и ярый защитник далитов доктор Бхимрао Рамджи Амбедкар, сам выходец из касты неприкасаемых, не разделял точку зрения Ганди и всегда указывал на то, что индуизм, как религиозная доктрина, основан на отрицании равенства людей от рождения, что неизбежно приводит к существованию низших и высших каст. Он не верил в возможность быстрых и коренных изменений в жизни неприкасаемых и на протяжении многих лет выступал за то, чтобы не ждать, пока отношение в обществе к ним изменится, не мириться со своим принижением положением внутри индуисткой общины. Амбедкар выступал за уничтожение кастовой системы и не верил в возможность смягчения ее принципов. Он видел решение проблемы «неприкасаемости» в смене религиозной принадлежности и сам принял буддизм в 1956 году, побудив к этому несколько миллионов далитов [Beltz, 2005, p. 95].

После достижения независимости и смерти Ганди точка зрения Амбедкара на решение проблемы неприкасаемых, направленная на повышение уровня образования и на активное вовлечение их в процесс управления государством, оказалась главенствующей. Индийское правительство предприняло ряд серьезных попыток решить проблему далитов и отсталых племен и превратить их в полноправных членов индийского общества. По отношению к ним стала проводиться политика так называемой «позитивной дискриминации».

По Конституции Индии 1950 г. все граждане в Индии имеют равные права, но 46 статья основного закона страны закрепляет защиту интересов выходцев из «зарегистрированных каст и племен» в области образования и социально-экономического развития на общегосударственном уровне [Constitution of India, Электронный ресурс, p. 23]. Хотя право далитов на защиту и помощь зафиксировано на правовом уровне, принадлежность к бывшим «неприкасаемым» остается одной из глубочайших социальных проблем, которая до сих пор не нашла своего решения. Религиозные представления, базирующиеся на традиционной культурной и бытовой изоляции этой широкой группы населения, ее приниженное положение в индуистском обществе приводят к тому, что далиты становятся тем широким полем борьбы, где сталкиваются как адепты самых разных религий, так и представители националистических индуистских организаций.

Для защиты прав далитов были приняты специальные законодательные акты, согласно которым выходцам из «неприкасаемых» предоставлялись кво-

ты на занятие государственных должностей и на получение гарантированных мест в университетах. В Конституции зафиксировано право на резервирование мест в государственных и учебных заведениях для представителей «зарегистрированных каст» и «зарегистрированных племен», внесенных в специальные списки [Ibid., p. 165]. В настоящее время эта квота составляет 22,5% мест в высших учебных заведениях и на государственной службе. Из 22,5% мест — 15% приходится на зарегистрированные касты и 7,5% — на зарегистрированные племена. Эти квоты пересматриваются раз в 5 лет, чаще всего в сторону увеличения, но 1982 г. Верховный суд Индии постановил, что они не должны превышать 50-процентный рубеж. Однако в штате Тамил-Наду квоты достигают 69%, при этом выходцы из «зарегистрированных каст» и «зарегистрированных племен» составляют 89% населения [Sunil K. J., электронный ресурс]

Резервирование для далитов мест в высших учебных заведениях и на госслужбе вызывает много споров. С одной стороны, представители бывших «неприкасаемых» имеют возможность получить места в университетах и государственных учреждениях, с другой стороны — это не решает проблемы бедности и крайней отсталости миллионов людей и не меняет традиционного негативного их восприятия со стороны выходцев из других социальных групп. Эти официальные привилегии вызывают ярость и возмущение представителей других каст, которые считают их несправедливыми и необоснованными. Далитам, как выходцам из низших социальных слоев общества, труднее конкурировать на службе с представителями высших каст с более высоким уровнем образования и бытовой культуры, и они не готовы отказаться от этой привилегии. И существующая система продолжает воспроизводить сама себя.

Для защиты прав неприкасаемых при правительстве Индии в 1950 году была создана «Национальная комиссия по зарегистрированным кастам и зарегистрированным племенам»<sup>1</sup>. Несмотря на ее активные действия, положение далитов на бытовом уровне и до сегодняшнего дня остается очень тяжелым: они страдают от эксплуатации со стороны выходцев из высших каст, от сексуальных домогательств, становятся жертвами одиночных, а иногда и массовых убийств. Исходя из официальной статистики против далитов совершается от 10 000 до 20 000 тяжких преступлений в год. Каждый день 3 женщины-далитки подвергаются изнасилованию, 11 далитов — избиению, 2 далита становятся жертвами убийств [Crimes, эл. ресурс]. Уровень дискриминации и социальной отсталости этой группы населения остается очень высоким: до 45% далитов — не умеют читать и писать, в 37% государственных школ дети-далиты вынуждены есть отдельно от остальных, в

---

<sup>1</sup> В ноябре 1950 г. появился пост Уполномоченного по кастам и племенам при правительстве Индии. В 1965 комиссары по кастам и племенам были уже в 17 штатах. В декабре 2004 г., на основе 89 поправки Конституции Индии было принято решение по созданию двух организаций «Национальной комиссии по зарегистрированным кастам и национальной комиссии по зарегистрированным племенам» для рассмотрения всех вопросов, связанных обеспечением гарантий социальной защиты, предусмотренными для зарегистрированных каст и племен, с обязательным предоставлением отчетности Президенту о соблюдении прав этой категории граждан. [National Commission for Scheduled Castes, эл. ресурс]

26% деревень далитам запрещается заходить в здания полицейских участков и в продовольственные лавки, в 48% деревень далиты не имеют доступа к общим источникам воды [Ibid.].

До настоящего времени этот слой населения традиционно является беднейшим, самым эксплуатируемым и бесправным в индуистской среде и подвергается жесточайшей дискриминации. Однако в последние десятилетия далиты стали осознавать себя как единую общность и создавать первые политические партии<sup>1</sup>, различные общественные организации<sup>2</sup>, издавать собственные газеты и журналы. В городах уровень сегрегации и дискриминации далитов несколько ниже, чем в деревнях, но большая часть таких людей проживает в сельских и отдаленных районах и находится в крайне зависимом положении от представителей других каст.

Дискриминация и сегрегация этой группы населения делает ее базой для массового перехода в другие конфессии и пополнения рядов религиозных меньшинств. Далитам проще сменить религию, чем бороться с предопределением судьбы и многовековой эксплуатацией, и смена вероисповедания на буддизм, сикхизм, христианство или ислам кажется им возможностью повысить свой социальный статус и изменить свою жизнь к лучшему.

Переход далитов в другие религии не избавляет их от тяжелого бремени неполноценности и угнетения. Они подвергаются дискриминации даже после смены вероисповедания, и за ними продолжает тянуться шлейф социальной неполноценности. Например, для далитов-сикхов появился специальный, обозначающий эту группу термин «мазхби», далитов-буддистов в Махараштре называют «махар», продолжая отождествлять их с бывшей кастой неприкасаемых, отделяя их таким образом от остальной общины буддистов. Выбор христианства и ислама в качестве новой религии зачастую приводит к крайне негативной реакции со стороны индуистов, которые считают эти религиозные доктрины чужеродными, привнесенными извне, и уровень дискриминации мусульманских и христианских неопитов оказывается выше, чем сикхских или буддистских. Однако переход к «буддизму, джайнизму и сикхизму воспринимается индуистскими националистами менее враждебно, так как, с их точки зрения, эти религии являются частью индуизма» [Beltz, op. cit., p. 105].

Существует, как минимум, три уровня дискриминации христиан-далитов. Во-первых, индуисты, выходцы из высших каст, не видят разницы между далитами-индуистами и далитами-христианами. Отношение к христианам-далитам оказывается даже хуже, чем к далитам-индуистам, так как, помимо «преступного» рождения в статусе далита, они бросились в «христианские объятия и стали национал-предателями» [Kleinhesselink, 2005, эл. ресурс]. Выходцы из высших каст не видят принципиальной разницы между далитами-индуистами и далитами-христианами, кастовые предрасудки продолжают сохраняться по отношению к тем и другим. Независимо

<sup>1</sup> The Bahujan Samaj Party (BSP) «Бахайян Самаи Парти» — партия основанная в 1984 г. и выступающая в защиту далитов, выражает их интересы, активно выступает против кастовых пережитков.

<sup>2</sup> The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) организация, выступающая за соблюдение прав далитов, основана 1998 г.

от вероисповедания, новообращенные и далиты могут собираться только за пределами деревни, где живут выходцы из высших каст, ограничения на далитов-индуистов распространяются на далитов-христиан.

Во-вторых, христиане-далиты подвергаются и государственной дискриминации. После крещения, с точки зрения индийских чиновников, они перестают быть выходцами из «зарегистрированных каст» и «зарегистрированных племен» и не могут пользоваться привилегиями на получение образования и замещение государственных должностей. По закону 1950 г. эти возможности закреплены только за выходцами из низших каст индуистов, в 1956 году в эту привилегированную группу были включены далиты-сикхи, а в 1990 г. — далиты-буддисты. Таким образом, это законодательство лишает далитов-мусульман и далитов-христиан социальных гарантий, предусмотренных для остальных далитов. Оно делит выходцев из каст «неприкасаемых» по религиозному признаку, а не по уровню бедности или социальной отсталости, создавая связь между кастой и новой религией. Исключение христиан-далитов из программы «позитивной дискриминации» приводит к возникновению такого явления, как двойная религиозная идентичность. Неофиты продолжают посещать храмы, наряду с церквями, скрывая смену вероисповедания от властей.

Двойная религиозная идентичность встречается фактически во всех индийских штатах, где есть христианские общины. Так пасторы-лютеране Кумар и Робинсон, работавшие в прибрежном штате Андхра-Прадеш, констатировали, что большинство новообращенных лютеран сохраняют свои индуистские имена, предпочитают скрывать свою истинную религиозную принадлежность, продолжают пользоваться программой образования и резервирования мест в госаппарате [Prakash, 2010, p. 2]. Такая двойная идентичность крайне затрудняет подсчет реальной численности христиан в стране, поэтому, по разным оценкам, она колеблется от 26 до 70 млн. человек. Рост численности христиан, часть из которых скрывает свою религиозную принадлежность, раздражает националистически настроенную часть индуистского населения и приводит к насильственным актам возвращения христиан в индуизм. Сообщения о разрушенных церквях и акциях устрашения против христиан появляются в индийских газетах почти ежедневно, дело доходит даже до убийств неофитов и священников. Активисты различных националистических организаций<sup>1</sup> терроризируют христианские общины и назначают специальные акции устрашения в дни христианских праздников, предлагают денежные премии за возвращение в индуизм [Christian enclave, эл. ресурс]. На государственном уровне в ряде штатов принимаются специальные законы, направленные против «насильственного обращения индуистов» в другое вероисповедание. В реальности эти законы направлены на то,

<sup>1</sup> Организации националистического толка объединены в союз «Сангх Паривар» («Семейное общество»), в состав которого, помимо «Бхаратия джаната парти» входят «Раштия сваям севаксанг» («Союз добровольных служителей нации», «Вишва хинду паришад», «Банджранг дал» («Отряд сильных») — целью которого является строительство индусского государства. «Вишва Хинду Паришад» — «Всемирный индусский совет» — для этой организации характерен высокий уровень религиозного фанатизма, участвует в межконфессиональном насилии.

чтобы осложнить для индуистов переход в другую религию<sup>1</sup>. Чтобы доказать властям ненасильственный переход в другую веру, миссионеры вынуждены прибегать к обряду общего крещения. Однако это не уменьшает давления властей и правых индуистских организаций по возвращению далитов-христиан в индуизм.

В-третьих, в тех районах на юге Индии, где христианство пустило корни достаточно давно, продолжают сохраняться кастовые различия между членами католических общин. Это приводит к дискриминации в церкви со стороны братьев по вере, которые продолжают отстаивать свой высокий кастовый статус. Причем граница между ними и далитами, принявшими крещение несколько поколений назад, фактически не стирается. Это связано с тем, что крещение принимали зачастую целыми деревнями и социальная структура, сложившаяся в деревенской общине, фактически не менялась. Кастовая сегрегация ярко выражена у католиков Гоа, Кералы и Тамил-Наду. В некоторых церквях богослужения проводятся отдельно для выходцев из низших и высших каст, в других — выделены отдельные скамейки для далитов, отдельные кладбища и катафалки. Мальчикам, выходцам из далитов, не разрешается служить у алтаря. Хотя община католиков на 70% состоит из бывших далитов, только 4% от общего числа священников являются выходцами из их среды [Mosse, 2012, p. 211].

Далиты-христиане, проживающие в сельской местности, продолжают оставаться одной из беднейших групп населения. Основная причина их крайней нищеты состоит в том, что неприкасаемые были лишены права владеть собственностью, особенно землей, и результате большинство христиан-далитов до настоящего времени вынуждено работать поденщиками у собратьев из высших каст. Далиты-христиане после крещения продолжают вступать в эндогамные браки внутри касты, например, выходцы из касты дравидов *ади* продолжают вступать в браки с представителями этой касты [Dalits, 2008, p. 76], при этом браки с христианами высших каст фактически не фиксируются. Это говорит о том, что смена религиозной принадлежности по сути не означает разрыва с кастой.

Сегрегация в протестантских общинах на севере Индии представлена в гораздо меньшей степени, так как крещение проводилось в основном среди далитов, где они составляют от 70% до 90% общины. Дискриминация далитов-христиан внутри общины продолжает оставаться на высоком уровне, но она тем не менее оказывается значительно ниже, чем дискриминация далитов в индуистском сообществе [Ibid, p. IX].

Однако неравноправие и притеснения в христианском храме, внутри общины, дискриминация на государственном уровне оказываются для них предпочтительнее, чем сохранение себя в статусе далита на самой низкой ступени индуистской социальной лестницы. Те националистические организации, которые активно призывают далитов-христиан вернуться в лоно

---

<sup>1</sup> Orissa Freedom of Religion Act, 1967, Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 1968, Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Bill 2006, Anti-Conversion Bill in Gujarat 2014, принятые в различных штатах Индии законы, направленные против перехода индуистов в другое вероисповедание.

индуизма, по большому счету ничего не могут предложить, кроме идей возрождения великой Матери-Индии и попыток обелить брахманизм. Заявляя, что до прихода мусульман и христиан, отношения между варнами были просто идиллическими, утверждая, что деградация шудр и неприкасаемых произошла в результате проникновения в Индию ислама и христианства, они пытаются полностью игнорировать проблему кастовой сегрегации [Yoginder, 2011, эл. ресурс]. Чтобы убедить христиан и мусульман вернуться в лоно индуизма, организации, являющиеся приверженцами идеологии хиндутвы<sup>1</sup>, делают попытки либо подкупить наиболее уважаемых членов религиозных общин, предлагая им высокооплачиваемые посты в собственных партиях и организациях, либо прибегают к акциям устрашения или насилия.

Однако все эти меры плохо срабатывают, переход далитов в другую религию оказывается более предпочтительным, и в стране проходят акции по массовому принятию беднейшими и угнетенными слоями населения буддизма, ислама и христианства. Процесс смены вероисповедания не проходит гладко и ведет к обострению отношений религиозных меньшинств с индуистским большинством. Увеличение христианской общины в Индии встречает все большее сопротивление не только со стороны националистических организаций, но и со стороны правительственных чиновников, которые пытаются ограничить их рост с помощью специального законодательства. Давление со стороны правительственных кругов продолжает усиливаться, особенно с приходом к власти летом 2014 года «Бхаратия Джаната парти», исповедующей идеологию хиндутвы. Это давление на христианскую и мусульманскую общину оказывается одним из самых сильных, так как обе религии наименее соответствуют принципам индуистского национализма, который пытается стать основной скрепой современного многонационального индийского государства.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anti-Conversion Bill in Gujarat 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lawsofindia.org/statelaw/2512/TheOrissaFreedomofReligionAct1967.html>.
2. Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Bill 2006. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/sca/192923.htm>.
3. Orissa Freedom of Religion Act, 1967 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lawsofindia.org/statelaw/2512/TheOrissaFreedomofReligionAct1967.html>.
4. Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 1968. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.frontline.in/the-nation/law-against-a-freedom/article6715504.ece>.
5. *Ballhatchet K.* Caste, Class and Catholicism in India 1789-1914, New York 1998.
6. *Beltz. J.,* Mahar, Buddhist and Dalit Religious Conversion and Social-Political Emancipation in Contemporary Maharashtra, New Delhi, 2005.
7. Christian enclave in India fears violence as Hindus press for conversions. [Электронный ресурс]. URL: [http://www.washingtonpost.com/world/asia\\_pacific/christian-enclave-in-india-fears-violence-tension-after-religious-conversions/2014/12/17/](http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/christian-enclave-in-india-fears-violence-tension-after-religious-conversions/2014/12/17/).
8. Constitution of India, Part IV Directive Principles of State Policy, 46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other

<sup>1</sup> Хиндутва — идеология современного индуистского и культурного национализма.

weaker sections. [Электронный ресурс] URL: <http://india.gov.in/my-government/constitution-india>.

9. Crimes against dalits in India. [Электронный ресурс]. URL: <http://indiafacts.in/statistics/crimes-against-dalits-in-india/>.

10. Dalits in the Muslim and Christian Communities. A Status Report on Current Social Scientific Knowledge National Commission for Minorities Government of India, Satish Deshpande Geetika Varma. Department of Sociology University of Delhi, New Delhi, 2008.

11. Frykenberg R. E., Alain M. Low Christians and Missionaries in India: Cross-cultural Communication Since 1500, Cambridge. 2008.

12. Kleinhesselink D. C. Dalits A Research on Christian Dalits in India. 2009. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.indianet.nl/pdf/christiandalits>.

13. Mosse D. The Saint in the Banyan Tree: Christianity and Caste Society in India. California, 2012.

14. National Commission for Scheduled Castes Government of India. [Электронный ресурс]. URL: <http://ncsc.nic.in/>

15. Nicholas B. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Dirks Princeton University Press, 2001.

16. Prakash P. Surya Christianity in India: A Promised Land for Dalits. Bangalore, 2010.

17. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.

18. Sunil K. Jangir. Reservation Policy and Indian Constitution in India American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Science. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iasir.net>.

19. The Letters and Instructions of Francis Xavier. Institute of Jesuit Sources, Ann Arbor, 1992.

20. Viswanath Rupa. The Pariah Problem Caste, Religion, and the Social in Modern India, Columbia University Press, 2014.

21. Yoginder S. Brahminism, Hindutva And The Dalit Question, 26 August, 2011 Countercurrents.org. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.countercurrents.org/sikand260811.htm>

22. Zupanov I. G. Missionary Tropics the Catholic Frontier in India (16th – 17th centuries). Ann Arbor, 2008.

23. Волосюк О. В. Испания и Япония: первые контакты в XVI веке. //Новая и новейшая история. 2014, №3.

24. Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени. Минск, 2004.

25. Законы Ману/ под ред. Ильина Г. И. — М., 1992.

26. Кудрявцев М. К. Кастовая система в Индии. — М., 1992.

27. Куценков А. А. Из истории изучения индийской касты //Народы Азии и Африки. 1980. №4.

28. Куценков А. А. Эволюция индийской касты. М., 1983.

29. Рыбаков Р. Б. Интерпретация понятия кармы в религиозно-философских трудах Свами Вивекананды // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. История. Экономика. М., 1970.

30. Солодкова О. Л. Роль католической церкви в образовании португальской колониальной империи в Индии в первой половине XVI в. // Вестник РУДН, серия Всеобщая история. М., 2012. № 2.

31. Трубецкой Н. С. Религии Индии и христианство //Литературная учеба. Книга 6. Новгород, 1991.

32. Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии XX век, М.: ИВ РАН, 2010.
33. Юрлова Е. С. Индия: мусульмане и мусульманки. Проблемы религиозного меньшинства в многоконфессиональном обществе // Азия и Африка сегодня. 2007. № 10.
34. Юрлова Е. С. Политическая борьба по проблеме позитивной дискриминации в Индии // Индия в глобальной политике. Внешние и внутренние аспекты: Материалы научного семинара. М., 2003.

*Поступила в редакцию 20.12.2014*

### НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 200-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

21–22 октября 2014 года в Литературном институте им. А. М. Горького состоялась научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Конференция была организована кафедрой русской классической литературы и славистики. С докладами выступили преподаватели кафедры, а также сотрудники Дома-музея М. Ю. Лермонтова и Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Открыл конференцию и. о. ректора Литературного института проф. А. Н. Варламов.

Ниже приводятся материалы некоторых докладов.

С. А. ВАСИЛЬЕВ

#### «И ВСТРЕТИЛСЯ МНЕ СВЕТОЗАРНЫЙ АНГЕЛ...» (М. Ю. ЛЕРМОНТОВ И С. С. БОБРОВ)

М. Ю. Лермонтов уже в весьма раннем возрасте приобрел очень широкий литературный кругозор, который позволил ему выработать систему творческих симпатий и антипатий, собственное художественное кредо, самостоятельный путь в искусстве. Его домашним учителем некоторое время был А. Ф. Мерзляков, известный поэт, переводчик, литературный критик, профессор Московского университета, участник знаменитого Дружеского литературного общества (1801). В Московском Университетском Благородном пансионе, в котором Лермонтов учился с 1828 по 1830 год, его педагогом словесником был Д. Н. Дубенский, в 1828 г. выпустивший книгу «Опыт о народном русском стихосложении», где «...среди примеров из старых писателей — Тредьяковского, Сумарокова, Хераскова, Рубана, Державина, Каменева, Карамзина <...> и других — встречаются цитаты из современных поэтов: Тютчева, <...> П. Вяземского, В. Туманского, Раича и наиболее часто из сочинений Пушкина <...>» [Бродский, 1945, с. 72, 73]. В. Э. Вацуро отмечал, что для юного Лермонтова «<...> имеет значение, с одной стороны, устойчивое тяготение к романтической поэзии Пушкина и Байрона; с другой — ориентация на «Московский вестник» и на литературно-философскую позицию Любомудров (Веневитинов, Шевырев), которой отдали дань и первые литературные наставники и преподаватели Лермонтова. Несомненно, должны были как-то отразиться и литературные уроки Мерзлякова и Раича» [Вацуро, 2008, с. 53].

В этой связи, учитывая широту литературной эрудиции Лермонтова и в особенности его непосредственное знакомство с деятельностью Любомудров, в значительной степени наследующих в 1820-х гг. державинскую литератур-

ную традицию [Минералов, 2007], есть смысл включить в контекст литературоведческого осмысления лермонтовского стиля и такую значимую фигуру литературной жизни начала XIX века, ученика Г. Р. Державина, им ценимого, как С. С. Бобров, произведения которого читались и в 1820-х годах, в частности, А. С. Пушкиным [Коровин, 2004]. Среди многих небезынтересных параллелей к данной теме (воплощение «ночной» философской тематики, характерные черты поэтических пейзажей, образ паруса и др. [Васильев, 2014, с. 11–18]) интересен развернутый образ барса, бой с которым так ярко изобразил М. Ю. Лермонтов в своей знаменитой поэме «Мцыри». Ср.:

М. Ю. Лермонтов Мцыри	С. С. Бобров Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец
То был пустыни вечный гость — <i>Могучий барс. Сырую кость</i> <i>Он грыз и весело визжал;</i> То взор кровавый устремлял, Мотая ласково хвостом, На полный месяц, — и на нем <i>Шерсть отливалась серебром. &lt;...&gt;</i> Врага почуял он, и вой <i>Протяжный, жалобный как стон</i> Раздался вдруг... <...> И первый бешеный скачок <i>Мне страшной смертью грозил...</i> [Лермонтов, II, с. 417]	<i>Жестокий нестрорунный барс &lt;...&gt;</i> <i>В разверстой пасти пено-точной</i> <i>Пышала пагуба и смерть;</i> <i>В сверкающих очах его</i> <i>Желанье лютое пылало; &lt;...&gt;</i> <i>К несчастью расторопный зверь</i> Вскочивши на хребет тельца, <i>Вцепил свои ужасны когти,</i> <i>Налег на ramo, — рвал, терзал,</i> Доколе бедный издыхая Оставил труп свой на снаденье. [Бобров, 1807, 1809, с. 56]

Для Боброва это один из многих анималистических образов. Он создает законченную картину — изображает голодного, «томимого лютым гладом» барса и его удачную охоту на отбившегося от стада «тельца». Барс ярко обрисован внешне, с опорой на неологизмы, словесную живопись, сильную эмоциональность: *пестрорунный, с разверстой пастью пено-точной, со сверкающими глазами, с ужасными когтями, к несчастью расторопный зверь, рвал, терзал*. Не менее важна и «дикая его свобода». Именно эти планы — детальный портрет жестокого барса, мотив его необузданной свободы, яркая эмоциональная составляющая сближают произведения Боброва и Лермонтова. Подчеркнем, что последний воплощает отмеченный образ в целом в контексте карамзинской традиции.

Такого рода сопоставления позволяют расширить круг вероятных литературных источников лермонтовских произведений, или, как минимум, создавая соответствующий контекст для литературоведческого анализа, более определенно увидеть черты художественного мастерства русского гения.

Л. А. КАРПУШКИНА

**ИРОНИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ В РОМАНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА  
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»**

Лишь в человеке встретиться могло  
Священное с порочным. Все его  
Мученья происходят от того.

[Лермонтов, I, 1979, с. 167].

«Герой нашего времени», как первый русский психологический роман, по словам В. Г. Белинского, ставит вопрос о «внутреннем человеке». Художественному раскрытию этой проблемы и посвящено в целом это произведение, сюжетный центр которого — это личность человека, его «душевная жизнь, взятая изнутри как процесс» [Эйхенбаум, 1969, с. 265]. Неоднократно исследователи обращали внимание на то, что название романа было скорректировано Лермонтовым с помощью А. А. Краевского, а поначалу соотносилось с романом А. де Мюссе («Один из героев начала века» у Лермонтова и «Исповедь одного из детей века» в дословном переводе на русский у Мюссе). Обращалось внимание и на то, что автор русского романа, в противоположность Мюссе, не озабочен задачей исправления нравов и даже излечения от «болезни века» себя самого. Но подобная декларация отказа от дидактической авторской функции: «А как ее излечить — это уж бог знает!» [Лермонтов, IV, 1981, с. 183] — глобально меняет не только представление о литературе и ее задачах, но и самым непосредственным образом объясняет новые художественные средства изображения действительности и авторского отношения к ней в романе Лермонтова. Литература мыслится автором не как дающая нравоучительные ответы на поставленные вопросы, но как форма духовной жизни, *называющая* проблемы, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек.

Давно высказано мнение, что ирония в романе принадлежит только Печорину: «С Печориным в роман входит ирония, но она остается иронией Печорина, не отождествляясь с жизнеощущением автора» [Гинзбург, 1940, с. 167]. Подобный взгляд на роман, к сожалению, исключает многие нюансы, которые могли бы расширительно трактовать спектр его художественного воздействия и несколько объяснить то очарование тайны, которое уверенно постулируется учеными, изучающими текст романа [Гурвич, 2002, с. 801]. «Тайну» усугубляет то обстоятельство, что Лермонтов не оставил литературной переписки и теоретико-литературных статей, поясняющих его взгляд на те или иные аспекты художественного творчества. Есть авторские предисловия к драме «Странный человек» и к роману «Герой нашего времени» (а также внутри романа заметка-предисловие к журналу Печорина, от лица офицера-рассказчика, что создает, конечно, весьма условную ситуацию отношений автор — рассказчик и открывает различные возможности интерпретации этого послания к читателю). В предисловии к «Странному человеку» читаем: «Справедливо ли описано у меня общество? — *Не знаю*» [Лермонтов, III, 1980, с. 193]. В предисловии к журналу Печорина странствующий офицер бросает: «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о

характере Печорина? Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это *злая ирония!*» — скажут они. — *Не знаю!*» [Лермонтов, IV, 1981, с. 225]. Без корреляции текста и иронического подтекста понять Лермонтова невозможно, иначе читатель примыкает к той публике, которая остроумно в предисловии к роману «Герой нашего времени» изображена в образе провинциала, принимающего дипломатов враждующих государств за нежнейших друзей.

Но, на наш взгляд, признания того, что именно автор продуцирует иронический контекст, не отдавая эту функцию одному герою, недостаточно. Необходимо также признать, что объектом этой иронии становится читатель. Ведь простодушно принять Печорина за авторское alter ego или решить, что автор находится на стороне Печорина или Максима Максимовича, или кого-нибудь еще — это типичная аберрация иронического подтекста.

На пути постижения авторского романного замысла важен и контекст: образ Печорина действительно аккумулирует в себе проблематику поколения, мы видим те же признаки «болезни времени» в «Думе» Лермонтова:

*К добру и злу постыдно равнодушны,*

*В начале поприща мы вянем без борьбы* [Лермонтов, I, 1979, с. 400].

Но и эта проблематика не лишена потенциального иронического осмысления: отсутствие реальной деятельности, конечно, подрывает саму возможность серьезной борьбы, но не свидетельствует ли равнодушие к добру и злу, что не заслуживающим борьбы может быть (по иронии) признано любое реальное противоречие? Фокус притяжения романа именно в том, что конфликты, продуцируемые в каждой из частей романа главным героем, являются, по сути своей, вневременными, «вечными» (не оторванными от социальных условий, но принципиально не сводимыми к этому уровню), так же, как и заглавный конфликт, столь удачно сформулированный Лермонтовым при помощи Краевского.

Является ли Печорин героем времени? Конечно, если посмотреть на семантику слова «герой» расширительно, что было в свое время успешно предпринято Н. К. Михайловским: «герой» — как провокатор действия, инициатор событий: «Представитель инициативы, человек почина, первого шага, энергетической воли и мгновенной или постоянной решимости» [Михайловский, 2002, с. 266]. Совершенно очевидно, что не только пресловутая позиционируемая героем «скука» является стимулом к такой бурной деятельности на почве чужих судеб, во всех действиях Печорина угадывается по отношению ко всему окружающему миру упрек, узнаваемый нами по лучшим строкам поэмы «Демон», исключенным из последней редакции поэмы:

*Посла потерянного рая*

*Улыбкой горькой упрекнул* [Лермонтов, II, 1980, с. 484].

Цель Печорина — экспериментально доказать себе, что никакой самоотверженности, любви, лишенной самолюбивой выгоды обладания и превосходства, не существует. Сам герой, достигший вершин рефлексии и талантливый наблюдатель окружающего мира, благодаря самопознанию, видит иронический конфликт видимости и сущности внутри каждого персонажа (Грушницкий самолюбив и хочет стать «героем романа», но бросается в бой с зажмуренными глазами; Мери боится, как бы ее свидетельство эмпатии

к человеку в солдатской шинели не увидела княгиня) и последовательно подводит их к тем границам, где достигается понимание этой иронической двойственности бытия: *«Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие...»* [Лермонтов, IV, 1981, с. 266].

Печорин последовательно подводит каждого из участников событий к собственному внутреннему конфликту, который ставит персонажа перед важным выбором: Азамат вынужден сделать роковой выбор между мечтой и предательством семейных уз, Максим Максимыч — между долгом старшего офицера и дружбой с Печориным, между симпатией к нему и жадной благодарности за свое благоволение... Весьма тяжелый выбор достается Грушницкому и Мери. Их сломленность выглядит ироническим доказательством того, что дружба и любовь в борьбе с самолюбием терпят сокрушительное поражение, закрепляемое рифмующимися финальными репликами этих героев, обращенными к Печорину: «Я вас ненавижу».

Эта тонкая игра не названными впрямую ироническими парадоксами делает стиль Лермонтова (слог как способ мышления) ярчайшим образцом духовной самобытности автора, в эпоху романтической избыточности прямого авторского высказывания пренебрегшего этим простым способом быть понятым читателем: «Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым» [Белинский, VI, 1953, с. 316].

Г. Ю. ЗАВГОРОДНЯЯ

#### УТРАЧЕННЫЙ РАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Художественный мир Лермонтова, как бы парадоксально и непривычно это ни прозвучало, представляет собой явление очень цельное. Имеется в виду цельность, обусловленная присутствием во всем его творчестве сквозных, стержневых мотивов, узнаваемых и в лирике, и в поэмах, и в драме, и в романе. Создается впечатление, что поэт настойчиво возвращается к каким-то весьма значимым для себя вещам, которые могут быть воссозданы и аллегорически, и реалистически, и в духе романтизма, но — эффект «узнавания» от этого не исчезает.

Как отмечал Вл. Соловьев, «первая и основная особенность лермонтовского гения — страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себе, на своем я, страшная сила личного чувства <...> Лермонтов, когда и о другом говорит, то чувствуется, что его мысль и из бесконечной дали стремится вернуться к себе, в глубине занята собою, обращается на себя» [Соловьев, 1990, с. 278]. А вот не менее значимое в свете поднятой темы суждение П. Н. Сакулина: «Автор «Демона» всегда чувствовал рядом с собой присутствие иного, высшего мира...» [Сакулин, 1914, с. 3].

Как представляется, важнейший мотив у Лермонтова — это мотив утраченного рая, некоего идеального места и — что главное — идеального, *блаженного* состояния. С этим мотивом связано многое — и образная система, и более частные мотивы, которые так или иначе восходят к указанному центральному.

В художественном мире Лермонтова всегда присутствует предельное — до вселенских масштабов — расширение пространства и подчеркнутая его

поляризация. Это всегда — небо и земля, горнее и дольнее. Но, разумеется, речь идет далеко не только о физической поляризации, но прежде всего о духовной. Поэтому, наряду с указанными, важнейшая антиномия — это ангельское и демоническое. Между этими полюсами обретается едва ли не вся лермонтовская проблематика: «Я плакал; но все образы мои, // Предметы мнимой злобы иль любви, // Не походили на существ земных. // О нет! все было ад иль небо в них» [Лермонтов, I, 1979, с. 167].

Наверное, не случайно стихотворение, написанное 17-летним поэтом и названное исследователями «самым полным выражением его поэтического мироощущения» (П. Н. Сакулин) — это стихотворение «Ангел», а поэма, к которой он возвращался на протяжении всей жизни — это поэма «Демон». Между этими двумя вещами — поэма «Ангел смерти», которую можно трактовать как некое переходное звено.

Три эти вещи содержат в себе квинтэссенцию указанного мотива, так как выражен он недвусмысленно, законченно, во всей полноте. Здесь есть та самая предельная поляризация — и физическая, и духовная, здесь есть сам момент утраты блаженного устройства (и как места пребывания, и как состояния души), осознание этого и скорбь по этому поводу. И, наконец, отчаянная, но тщетная (ключевое слово!) попытка вернуть утраченное — через любовь, через ту единственную дверь, которая, как кажется, ведет обратно. Но эта попытка никогда не увенчивается успехом — герой, в силу своей демонической помраченности, не может (не умеет) войти в эту дверь.

Целый ряд произведений (стихи, поэмы, драма, роман) в свете поднятой темы могут составить красноречивый контекст для этих трех вещей, подтвердить, что тема не локальна.

В стихотворении «Ангел» образ ангела связан с небесной родиной и состоянием богопричастности и блаженства: «Он пел о блаженстве безгрешных духов // Под кущами райских садов; // О Боге великом он пел, и хвала // Его непритворна была» [Лермонтов, I, 1979, с. 213].

В начале стихотворения «Ангел смерти» образ ангела сходен (причастность к высшим, горним сферам — небесным, звездным, райским): «Его приход благословенный // Дышал небесной тишиной. // Лучами тихими блистая, // Как полуночная звезда, // Манил он смертных иногда, // И провожал он к дверям рая // Толпы освобожденных душ...» [Лермонтов, II, 1980, с. 110].

И в «Демоне» возникает образ-воспоминание: «Тех дней, когда в жилище света // Блистал он, чистый херувим, // Когда бегущая комета // Улыбкой ласковой привета // Любила поменяться с ним...» [Лермонтов, II, 1980, с. 374].

В каждом из произведений по-своему явлен мотив жизненно-важной утраты. В «Ангеле» это расставание человека с небесной родиной в момент его рождения на земле. В этом, по Лермонтову, изначальный трагизм жизни: «Он душу младую в объятиях нёс // Для мира печали и слёз. <...> И долго на свете томилась она, // Желанием чудным полна, // И звуков небес заменить не могли // Ей скучные песни земли» [Лермонтов, I, 1979, с. 213].

В «Ангеле смерти» человек уже добровольно отрекается от блаженной жизни в любви с девушкой, оживленной ангелом (и сама она именуется «ангел-дева»), тем самым навлекая на себя гнев ангела смерти. Гнев этот распространяется на весь род людской, который отныне лишается ангельского

утешения перед смертью: «Но ангел смерти молодой // Простился с прежней добротой; // Людей узнал он: «Состраданья // Они не могут заслужить; // Не награжденье — наказанье // Последний миг их должен быть» [Лермонтов, II, 1980, с. 122]. Возникает некая аналогия с грехопадением, за которым последовало отлучение от богообщения всех без исключения людей. Тема изгнания из рая актуализируется и посредством этой аналогии тоже. Характерно, что помрачается и ангельская сущность, ангел тоже утрачивает часть своей божественной просветленности, отказываясь от сострадания и превращаясь из утешителя в карателя.

В «Демоне», где ангельское бытие героя упоминается как безвозвратное прошлое, центральной является попытка все же это утраченное вернуть. Данный сюжет — о безуспешно пытающемся возродиться к утраченной горней жизни демоне через любовь «подсвечивает» (или наоборот «омрачает») едва ли не все любовные коллизии в творчестве Лермонтова, невольно сообщая им высший, онтологический смысл. Это уже не просто любовный сюжет, это метафора чего-то иного. И сама драматическая невозможность любви всегда сопряжена с гибелью, или физической, или моральной. В этой связи иначе видится, в числе прочего, весьма частотное название женщин ангелами — «ангел-дева» в «Ангеле смерти», «Иль женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил?», «Ты ангелом будешь, я демоном стану».

Та же самая коллизия — попытка возрождения через любовь к ангелу и невозможность этого обнаруживается в «Маскараде». Арбенин, убивший Нину, произносит: «... я счастья желал, // И в виде ангела мне Бог его послал; // Мое преступное дыханье // В нем осквернило божество, // И вот оно, прекрасное создание, — // Смотрите — холодно, мертво» [Лермонтов, III, 1980, с. 367].

В «Герое нашего времени» ангелами называются и Бэла, и Мери. Но в первом случае Печорин сам признает свою ошибку («я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою. . . Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. . .») [Лермонтов, IV, 1981, с. 209–210]; во втором слово произнесено Грушницким, на что Печорин реагирует явно саркастично, подчеркнуто «не узнавая» в Мери ангела:

«— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку, — это просто ангел!  
— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия» [Лермонтов, IV, 1981, с. 241].

Здесь обнаруживается отзвук той же драматичной попытки (в случае с княжной Мери — горько-травестированной) вернуться к себе, обрести собственный смысл (как метафора обретения утраченного рая) через любовь и невозможность этого в силу необратимой (демонической) поврежденности природы.

Таким образом, даже «герой времени» прежде всего (и даже в большей степени) — это именно *герой Лермонтова*, поэта, который на протяжении всей своей короткой жизни задавался вопросами онтологическими, «последними». И то, что у кого-то может быть случайной (или даже неслучайной) метафорой, для Лермонтова — самая что ни на есть жизненная правда и средоточие его художественного мира. Рассмотренная тема является ярким тому примером.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953.
2. *Бобров С. С.* Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец: В 2 ч. СПб., 1807, 1809. Ч. 1.
3. *Бродский Н. Л.* Лермонтов. Биография. Том. I. М., 1945.
4. *Васильев С. А.* Лермонтов и Бобров: случайные совпадения? // Русская речь. 2014. № 5. С. 11–18.
5. *Вацуро В. Э.* Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов // Вацуро В. Э. О Лермонтове: Работы разных лет. М., 2008.
6. *Гинзбург Л. Я.* Творческий путь Лермонтова. Л., 1940.
7. *Гурвич И. А.* Загадочен ли Печорин? // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
8. *Коровин В. Л. С. С.* Бобров. М., 2004.
9. *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Л.: Наука. 1979–1981.
10. *Минералов Ю. И.* История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы. М., 2007.
11. *Михайловский Н. К.* Герой безвременья // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
12. *Сакулин П. Н.* Земля и небо в поэзии Лермонтова // Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилейный сборник. М., Пг. 1914.
13. *Соловьев В. С.* Литературная критика. М., 1990.
14. *Эйхенбаум Б. М.* О прозе. Сборник статей. Л., 1969.

*Поступила в редакцию 29.11.2014*

---

---

## РЕЦЕНЗИИ

---

---

О. В. ВОЛОСЮК

**РЕЦЕНЗИЯ НА:  
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СУДЬБЫ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ /  
ПОД РЕД. Л. С. БЕЛОУСОВА, А. С. МАНЬКИНА. —  
М.: Издательство  
Московского университета, 2014. — 816 с.**

Завершающийся 2014 год прошел под знаком 100-летнего юбилея начала первой мировой войны. Перед участниками конференций, авторами лекций, издателями авторских и коллективных трудов стояла сложная задача: не только изучить ход войны, ее причины и результаты, но и определить место «Великой войны» в развитии дальнейшей истории XX века. Назовем лишь некоторые из этих мероприятий: «Первая мировая война — пролог XX века», «Первая мировая война и судьбы народов Российской империи (1914–1918 гг.)», «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников», «Великая война 1914–1918 гг.: Россия, Европа и исламский мир» и др. Уже из этих названий видно, что цель, которую ставили перед собой их участники — оценить воздействие войны на развитие Европы и мира, осмыслить, почему она стала тем рубежом, с которого начинается новый период всемирной истории. Квинтэссенцией этих научных изысканий стала фундаментальная коллективная монография, изданная в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова: «Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации».

Издание было подготовлено группой авторов исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (Белоусов Л. С., Манькин А. С., Романова Е. В., Терехов В. И., Цимбаев Н. И., Фомин А. М., Дажина В. Д., Агансон О. И.), а также ведущими учеными других ведущих вузов России: МГИМО (У) МИД РФ (Кизима М. П., Магадеев И. Э.), НИУ ВШЭ (Руткевич А. М.), Тамбовский ГУ имени Г. Р. Державина (Айрапетов А. Г.), РГГУ (Цимбаев К. Н.).

Структурно монография разделена на четыре части. Первая — *У истоков «Великой войны»* — разворачивает панораму массивных цивилизационных сдвигов первой четверти XX века, окунает читателя в атмосферу предвоенного общества, которая завершится выстрелом Гаврило Принципа на улице Франца-Иосифа в Сараево 28 июня 1914 г., знакомит с внешне- и внутриполитическими проектами, которые только вызревали в головах ведущих

политических и государственных деятелей, а также с идеями «властителей умов» начала нового столетия. Во второй части — *«Великая война» и формирование нового облика европейской цивилизации* — авторы предлагают переместиться на поля сражений, рассмотреть военные планы, боевые удачи и неудачи. Рассказ о событиях на полях брани дополнен важным разделом о внутривойсковых планах и деяниях ведущих западных держав и России, которые обеспечивали боевые действия на фронтах, о партийно-политическом строительстве, как принципиально важной составляющей цивилизационных сдвигов, имевших место в странах Европы и США начала века. Раздел завершается очерком об изменениях в духовной жизни европейцев в годы войны. Третий раздел — *«Великая война» и поиски «нового мирового порядка»* — посвящен внешнеполитическому сопровождению военных действий. В нем показана эрозия внешнеполитических довоенных принципов западных стран, очерчены их будущие территориальные и национальные аппетиты. В последнем разделе издания — *От потрясений к стабилизации: последствия «Великой войны» для европейской цивилизации* — прослежена эволюция послевоенного западного общества, отображен процесс смены парадигмы, произошедшей в результате войны. Самостоятельное значение приобретают приложения к изданию, где собран огромный и разнообразный документальный материал, который с помощью фактов и цифр дополняет концепции, предложенные авторами издания.

Нельзя не отметить интересные трактовки материала, увлекательность и стройность изложения, присущие этому комплексному исследованию «Великой войны». Читателю предлагается либо новый материал, либо новые подходы к рассмотрению изученных проблем. Вместе с тем эта увлекательность ни на йоту не позволила авторам уйти от строгой академичности в построении концепции и в использовании исторических фактов. В издании удачно сочетаются хронологический, проблемный и региональный подходы, что позволило раскрыть последовательно и логично наиболее важные проблемы истории первой мировой войны и европейской цивилизации начала XX века. Совершенно очевидно, в задачу издания подобного рода не входит подробное изучение историографических дискуссий, но ознакомить читателя с их существованием и пригласить его для дальнейшего их осмысления, стало одной из задач авторского коллектива, и в этом его несомненная заслуга.

Рассмотрим положения и выводы, к которым приходят авторы издания. «Материальная война есть лишь выявления войны духовной», — писал Николай Бердяев, размышляя о том, что мировая война началась в умах, и гораздо позже выплеснулась на поля сражений (с. 112). Предчувствие войны, ощущение надвигающейся катастрофы показано в издании образно и выразительно: оно проявилось и в дипломатии, и в подготовке и совершенствовании военно-промышленного комплекса, и в идейных исканиях европейских мыслителей, и в настроении, которым были наполнены произведения художественной культуры. В предвоенной литературной жизни, указывается в работе, не наблюдалось никакого «затишья перед бурей» (с. 121). Это совершенно справедливое замечание можно распространить на всю духовную культуру начала XX века, где шла интенсивная ментальная работа, кипели страсти, сталкивались в противоборстве идеи и эстетические

системы. Труды философов, историков, писателей, художников оказались не только индикатором глубинных процессов, происходивших в обществе, но и стали предвестником грядущих событий, с которыми столкнулась Европа в 1914 году.

Но если в трудах «властителей умов и душ» это предчувствие грозowych перемено щущалось довольно отчетливо, то государственная машина оказалась гораздо более неповоротливой. Да, великие державы активно готовились к войне: их подталкивали к ней их внешнеполитические и экономические цели, они активно строили военную промышленность, заключали договоры и союзы, но ни одно из европейских правительств — и это в тексте подчеркивается неоднократно — не представляло себе масштабов той катастрофы, в которую они втягивали свои народы. Это состояние общества наиболее точно отражено в приводимом авторами монографии образе из пьесы Морриса Метерлинка «Слепые»: слепые, оставшиеся в лесу без поводыря — как образ всего человечества, стоящего на пороге беды, неспособного понять, беспомощного перед грядущим (с. 108).

«Слепыми» оказались все — народы, правители, государства. Решительно, даже бравурно, взялись они за решение судеб мира, рассчитывая, что предстоящая война будет скоротечной и победоносной. Объявление войны вызвало во всех воюющих странах всплеск ура-патриотических настроений. Выступать с антивоенных позиций, как подчеркивается в исследовании, было непрактично и непатриотично (с. 192–193). Члены военно-политического руководства всех воюющих стран продумали молниеносные военные планы, заготовили военные резервы. Уже в самом начале войны они начали строить проекты послевоенного передела мира, раздела добычи после победы (с. 154).

В этой связи уместно вспомнить слова Ж. Клемансо, который, размышляя об обеспечении будущего Франции за счет плодов победы, заявлял: «Гарантии будут такими, каких сумеют добиться наши солдаты» (с. 341). Как бы следуя мыслью за французским премьер-министром, авторы монографии солидный раздел посвящают военному аспекту: экипировке армии, соотношению сил, преимуществам в боевой технике, а также развитию экономики великих держав. Хотя во введении к изданию подчеркнуто, что вопросам трансформации экономики уделено меньше внимания (с. 9), тем не менее, далее справедливо указывается, что после провалов планов «молниеносной войны» исход столкновения зависел от того, экономика какого государства выдержит испытание временем. Как показано в исследовании, уже 1915 год практически везде был отмечен заметным ухудшением жизненных стандартов. В России в начале года «патронный» и «снарядный голод» превратился в кризис боевого снабжения (с. 223). Лондон, финансируя своих союзников, все активнее сам был вынужден прибегать к внешним займам. В 1915 г. угроза стабильности фунта стерлингов вызывала серьезную озабоченность британского казначейства (с. 343), а военная активность Англии все больше стала зависеть от финансовой помощи «старшего брата» (с. 169). К 1916 г. стала буквально задыхаться от недостатка цветных металлов, каучука, нефти, продовольствия экономика Германии. Тяжелейшие бои на фронтах обескровили армию, ее дальнейшее пополнение за счет резервистов создавало серьезные проблемы

для экономики, без нормального функционирования которой рассчитывать на успехи на передовой не приходилось. В такой ситуации необходимо было любой ценой обеспечить бесперебойное снабжение фронта всем необходимым, а чтобы реализовать это, приходилось «закручивать гайки» во внутренней политике — от этого зависел исход войны (с. 167).

Таким образом, война показала, что добиться победы в ней без форсирования мер по государственному регулированию социально-экономических отношений, невозможно (с. 19). Именно в годы войны европейские правительства впервые прибегли к этатизации экономики. Это была, как подчеркивается в издании, первая серьезная война качественно новой фазы развития европейской цивилизации, которая уверенно вступила в стадию индустриального общества (с. 142). А главным содержанием политико-экономической перестройки ведущих стран Запада стал сдвиг от «пассивного государства», выполнявшего в социально-экономической сфере роль «ночного сторожа», к государству «позитивному», активно регулировавшему всю совокупность социально-экономических отношений и ради поддержания в обществе социальной стабильности выполнявшему функцию беспристрастного арбитра в трудовых конфликтах (с. 202–203).

Но политика огосударствления в условиях войны была явлением экстраординарным, и, соответственно, практически все участники политического процесса вынуждены были пойти на переосмысление ряда своих ключевых идеологем. А потому сразу после войны стал дискутироваться вопрос о пригодности этатистской идеологии для дальнейшего развития государства, для европейской цивилизации в целом — и в результате он стал таким своеобразным катализатором жизнеспособности партийно-политических структур. Вопросу партийного строительства накануне войны, во время и после нее посвящено немало страниц данного издания. В издании подчеркивается, что именно отношением партий к этатизму, а шире — к изменению экономико-политической концепции государства — был обусловлен сдвиг власти в партийно-политических структурах ведущих западных стран. Среди партий либерально-консервативного толка вопрос перехода на этатистскую платформу вызвал серьезные противоречия. Если во время войны они согласились с необходимостью регулирования государством социально-экономических отношений, то после ее окончания подавляющая часть политической элиты западных стран стала требовать возвращения к исключительному действию рыночных механизмов в экономике (с. 596). Наиболее явно это проявилось в эволюции либеральной партии Великобритании: партия перестала быть востребованной в политическом процессе и уже после окончания войны уступила свое место лейбористам. В Германии инициаторами программы государственного регулирования промышленности выступили не лидеры политических партий, а военное руководство, поддержанное ближайшим окружением кайзера. Такая линия поведения, как показано в книге, дорого обошлась всем немецким политическим партиям, которые потерпели фиаско, не пережив Ноябрьской революции (с. 212).

Современные подходы к изучению первой мировой войны позволили по-новому интерпретировать еще на один важный аспект партийно-политического строительства в годы и после войны. В книге показано, что в начале

войны крайне важное место в государственной политике занимал вопрос о методах поддержания национального единства, достижимый двумя путями: либо подавлением всех проявлений инакомыслия, вытеснением диссидентов за рамки политического процесса, либо включением умеренных оппонентов в рамки действующей политической системы, превращением их в системную оппозицию. Если, делается вывод, верховная власть стремилась к консолидации нации вокруг руководства государства, то она должна была инкорпорировать все основные политические силы, точнее — их представителей, в структуру органов власти (с. 194–195).

Для поддержания этой структуры в работоспособном состоянии необходимо было укрепить и расширить ее социальную опору, для чего интегрировать в рамки действующего политического механизма ту часть социал-демократии, которая взяла курс на реформирование и сотрудничество с буржуазными партиями. Государство со своей стороны вынуждено было смягчить ряд своих идеологических концепций в пользу главного тезиса социал-демократов — необходимости стремиться к большей социальной справедливости. Таким образом, делают авторы еще один вывод, открылась возможность для превращения социал-демократии из силы, дестабилизирующей политическую ситуацию в обществе, в фактор, цементирующий существующий правопорядок. Так, германская социал-демократия от первоначальной позиции («мир без завоеваний») в 1916 г. перешла к поддержке планов аннексий своего правительства, обосновывая это тем, что в борьбе с «кровавым царизмом» хороши все средства (с. 253).

В результате, по мнению авторов, главным итогом внутриполитических процессов в ведущих мировых державах стал сдвиг партийно-политической структуры влево и прочная интеграция в нее умеренных социал-демократов. Эта интеграция придала партийно-политическим системам западных стран большую устойчивость, сделала их более адекватными запросам эпохи «массовой политики», а также существенно изменило дальнейший вектор эволюции европейской цивилизации (с. 596, 689).

Важным концептуальным решением является трактовка понятия *патриотизм* и прослеживание его эволюции в зависимости от остроты политического момента. В издании показано, что патриотические настроения, охватившие большую часть творческой интеллигенции в начале войны, постепенно угасли: на место эйфории пришел трезвый взгляд на военную катастрофу (с. 295). Уже с 1916 г. оживление оппозиционных сил стало важным симптомом появления более критических взглядов на военные события. Если раньше они практически полностью поддерживали действия своих правительств, то теперь часть оппозиции в стенах парламентов и вне их, включая и солдатские массы, начинает вести все более активную антивоенную пропаганду (с. 154). Лозунги левого крыла социал-демократов, резко осуждавших войну, стали восприниматься не как предательские, пораженческие призывы, а как оправданная и справедливая критика бездарных властей, которые завели Европу в тупик (с. 194).

Четвертая, крайне важная часть издания, посвящена исследованию результатов и уроков войны, размышлениям о судьбах Европы и мира. Окончание войны не привело даже к временному затишью в общественно-политической жизни: Европа оказалась эпицентром революций, гражданских войн, наци-

онально-освободительных, националистических, фашистских движений (с. 645). Процессы, начатые в годы войны, активно развивались и в послевоенный период. В этой связи удачным представляется решение «вписать» историю России в общий ход развития первой мировой войны и европейской цивилизации. В издании охарактеризовано положение в России перед войной, пересмотрены вопросы ее участия в военных действиях, представлена ситуация в 1917 г., которая привела к острейшему политическому кризису, завершившемуся Февральской революцией, показано что после этой революции выход России из войны, причем на условиях, продиктованных Германией, стал неизбежен (с. 177). Еще в апреле 1917 г. министр иностранных дел Австрийской империи О. Чернин писал, что «Россия надолго (а может быть, и навсегда) утерит свое значение», указывая при этом на необходимость воспользоваться такими обстоятельствами (с. 346). В монографии подчеркивается, что крушение Российской империи привело к расширению сферы военных действий. Ее территории становились не только ареной гражданской войны, но и полем борьбы между блоками и отдельными державами за влияние. Поэтому начало интервенции союзников в начале весны 1918 г. на территории России было обусловлено не только желанием уничтожить большевистское государство, но не в меньшей степени желанием предотвратить усиление Германии и остановить продвижение германских войск на восток (с. 355–356).

Авторы выносят на суд читателей ряд новых сюжетов, а также в русле новейших тенденций историографии трактуют те из них, которых ранее уже касались советские исследователи. В монографии подчеркивается, что «Великая война» совпала с крупнейшим изломом европейской цивилизации, одним из проявлений которого стала формирование нового типа массового сознания в воюющих странах. Десятки миллионов людей в годы войны испытали невероятную эмоциональную (негативную) нагрузку, разрушавшую сложившиеся прежде стереотипы поведения и нравственные ценности. Одной из ключевых черт послевоенной эпохи стал крах довоенных ценностных ориентиров и формирование духовного вакуума, который стремительно заполнялся «ценностями» иного рода, унаследованными от прошлого авторитарными и новыми, тоталитарными представлениями об общественном устройстве. И этот важнейший сдвиг в массовом сознании, явившийся прямым результатом ментальных изменений, произошедших под воздействием послевоенного кризиса, стал одним из важнейших последствий первой мировой войны (с. 598, 605).

В результате, по мнению авторов, общим вектором перемен стала радикализация сознания масс, усиление ментальной готовности к поиску врага и применению силы в мирной послевоенной жизни. В качестве инструмента использовался проверенный временем национализм. В книге показано, что уже с 1915 г. в изданиях немецких социал-демократов появляется термин национал-социализм, который подразумевает иную организацию рейха, в котором исчезает классовая борьба, а пролетариат становится союзником и сотрудником государства. Такое общество, в концепции национал-социалистов, может возникнуть только в рамках национального государства, а потому социализм явится «спасителем национализма». Грядущий социализм не будет утопическим «царством труда» довоенных социалистов,

он будет национальным и военным социализмом (с. 254, 256). В условиях послевоенного кризиса национализм новой «закваски» предлагал решение национальных и государственных задач (как правило, отождествляя их) на путях борьбы не только с внешним, но и с внутренним противником. Этот национализм обретал черты некой интегральной доктрины, ставившей, как и прежде, во главу угла интересы нации, но дававшей свои ответы на новые экономические, социальные, моральные и идейные вызовы времени, ... ломавшей устоявшиеся в массовом сознании представления о механизмах управления обществом. Война, делают важный вывод авторы, повлекшая немислимое прежде усиление роли государства в жизни людей, не только способствовала внедрению командных методов в решение экономических, социальных и национальных проблем, но сделала их гораздо более легитимными в сознании масс (с. 607).

Этот тренд в массовом сознании создавал благоприятную почву для развития тоталитарной тенденции — ключевого политического феномена 1920–1930-х гг., поскольку способствовал распространению леворадикальных и правозкстремистских течений в европейских странах (с. 599). Различные радикальные протестные движения появились почти во всех воевавших странах, став одним из проявлений нарастания глубокого кризиса демократической формулы власти, они получили особенно широкое распространение там, где имел место реальный кризис власти на фоне глубокой неудовлетворенности масс итогами войны и производного от нее роста реваншистских настроений (с. 598–599, 608, 610).

Таким образом, появление тоталитарных тенденций и режимов логически выводится авторами из исторического наследия первой мировой войны. В центре внимания общественно-политической мысли послевоенной Германии оказался вопрос об ответственности за развязывание войны, а идеологический фундамент республиканской исторической мифологии послужил питательной почвой для реваншистских, ревизионистских и националистических настроений в самых широких кругах общества (с. 636–637). В этой связи авторы утверждают, что именно «Великая война» определила основную характерную черту всего межвоенного периода в западном мире — противостояние сил демократии и тоталитаризма (с. 613).

Если общественные деятели ставили вопросы: кто виноват и что делать, то военные, которые тоже анализировали уроки «Великой войны», отвечали на второй вопрос однозначно — готовиться к новой войне и, далее рассуждали, какими способами это сделать лучше. От процесса осмысления ими уроков войны — милитаризации государства, взаимоотношений военного и политического руководства, степени «разрыва» между армией и обществом — зависело и будущее европейской цивилизации (с. 526).

Авторы показывают, что руководство вооруженных сил европейских государств по-разному подошло к оценке уроков войны. Доминирующей среди французских и советских военных стала точка зрения о том, что «Великая война» — эталон будущего конфликта, образец «тотальной» и долгой войны, к которой их страны должны готовиться заранее. В Великобритании и в Германии видели в мировой войне лишь отрицательный опыт, руководство вооруженных сил рассчитывало избежать долгой и кровопролитной войны

с помощью современных технических средств, восстановления прав «военного искусства», благодаря новейшим техническим средствам, улучшенному взаимодействию родов войск и сокращению численности армий (с. 509, 525).

Несомненным украшением издания стал последний раздел, посвященный духовной культуре Европы периода «Великой войны», причем ее эволюция «вписана» в основные тенденции военной и политической истории. Как справедливо подчеркивают авторы, послевоенный период был чрезвычайно насыщенным и в плане обретения новых смыслов и качеств искусств. Постепенно затягивались военные раны, жизнь восстанавливалась и предьявляла литературе, изобразительному искусству, архитектуре и дизайну свои требования обновления и комфорта. Довоенные идеи преобразования сознания и общества средствами искусства и воображения давали новые всходы, приобретали новые очертания и формы, многие из которых провоцировали будущие перемены (с. 681). Вместе с тем, война поставила под вопрос все европейские ценности, стала причиной жесточайшего духовного кризиса европейской цивилизации. Еще во время войны вышла работа О. Шпенглера «Закат Европы», в которой немецкий философ усмотрел начавшееся движение вниз европейских стран, предрекая конец западной цивилизации. Ему вторил французский поэт П. Валери, писавший: «Теперь мы знаем, что цивилизации тоже смертны» (с. 643).

Но европейская цивилизация не погибла. Пережив сильнейший социально-политический и духовный кризис, делается крайне важный вывод в издании: «Из войны вышла уже другая Европа». Европа пережила сложнейший период переоценки прежних духовных ценностей, смены мировоззренческих, социальных и политических ориентиров, общих представлений и жизненных устоев. Этот процесс охватил все стороны бытия, затронул не только интеллектуальную элиту европейских стран, но всех европейцев без исключения: с войной в него оказались вовлечены огромные массы людей, представлявших самые разные слои общества. Война не оставила камня на камне от прежней Европы — ни в масштабе ее политической карты и судеб народов, ни в масштабе личного пространства простых обывателей (с. 645). На смену старому миру пришли новые времена, иные порядки, другие правила игры, в чем-то более совершенные, чем довоенные, в чем-то более жесткие и даже жестокие. Все это, подчеркивают авторы издания, сделало мир 1918 г. непохожим на мир 1914 г. «Великая война» открыла новую страницу в судьбах Европы и мира, стала рубежом, с которого начался отсчет нового периода всемирной истории, формирования мировой цивилизации, по законам которой человечество живет и сегодня.

Современные подходы к изучению истории первой мировой войны, использованные в данном издании, позволили по-новому взглянуть на многие стороны прошлого Европы. Важным достижением авторов стало умение «вписать» основные сюжеты первой мировой войны в европейский и мировой контекст. На наш взгляд, представленный фундаментальный труд займет достойное место в современной российской историографии, а также на полках российских и зарубежных читателей.

*Поступила в редакцию 20.12.2014*

## НАШИ АВТОРЫ

**Власов Сергей Васильевич**, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой французского языка Санкт-Петербургского государственного университета, [vir3@pochta.ru](mailto:vir3@pochta.ru)

**Волосюк Ольга Виленовна**, доктор исторических наук, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ  
[olgavolosiuk@yahoo.com](mailto:olgavolosiuk@yahoo.com)

**Демидов Дмитрий Григорьевич**, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета [demidoffs@rambler.ru](mailto:demidoffs@rambler.ru)

**Казнина Ольга Анатольевна**, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук, член Союза писателей России  
[olga-kaznina@yandex.ru](mailto:olga-kaznina@yandex.ru)

**Камчатнов Александр Михайлович**, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и стилистики Литературного института им. А. М. Горького [alexmk52@gmail.com](mailto:alexmk52@gmail.com)

**Парфенов Александр Ильич**, аспирант кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института им. А. М. Горького [parfenovalexander@yandex.ru](mailto:parfenovalexander@yandex.ru)

**Солодкова Ольга Леонидовна**, кандидат исторических наук, доцент, кафедра цивилизационного развития Востока, Школа востоковедения НИУ ВШЭ [olsolodkova@hotmail.com](mailto:olsolodkova@hotmail.com)

**Тарасов Борис Николаевич**, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Литературного института имени А. М. Горького. Сопредседатель Союза писателей России  
[rectorat@litinstitut.ru](mailto:rectorat@litinstitut.ru)

**Шапиро Александра Евгеньевна**, соискатель степени кандидата филологических наук, Литературный институт им. А. М. Горького, кафедра зарубежной литературы [alexandra.litvar@gmail.com](mailto:alexandra.litvar@gmail.com)

---

---

## SUMMARIES

---

---

### LINGUISTICS

WHAT CAN MODERN LINGUISTS SAY ABOUT THE DATE  
OF CREATION OF “THE SONG OF IGOR”?  
(CRITICAL NOTES ON THE BOOK BY A. A. ZALIZNIAK “THE SONG  
OF IGOR”: A LINGUIST’S VIEW”)

Sergey V. Vlasov

Candidate of Philology, associate professor, Head of the Department of French of  
St. Petersburg State University  
vir3@pochta.ru

Dmitrij G. Demidov

PhD, associate professor of the Department of Russian of St. Petersburg State  
University  
demidoffs@rambler.ru

The authors criticize A. Zaliznyak’s concept of dating and attribution of “The Song of Igor”. According to them, the methods of dating of undated manuscripts used by A. Zaliznyak cannot be recognized as relevant. They insist that it is necessary to carry out a functional and semantic analysis, not only formal but also semantic classification of examples which illustrate the embodiment of the hidden “deep essences” in the texts. As an example the article deals with the issues of the position of the enclitic particle *ся*, as well as the formation of verbal aspects and so called imperfect of the perfective aspect in the text of “The Song of Igor”. The article analyzes the works of the advocates of the late creation of “The Song”. The authors argue that all arguments of these scholars are not to be recognized as wrong, after A. Zaliznyak. All their statements should be refined upon, but not refuted peremptorily.

*Key words:* «The Song of Igor», original, copies, reconstruction, methods of dating undated manuscripts, the author of the text, anomalies, functional and semantic analysis, position of the enclitic particle *ся*, verbal aspects, A. Zaliznyak, R. Aitzetmüller, M. Moser, K. Trost, M. Hendler

### TEMPTATION: A HISTORICAL SEMASIOLOGICAL STUDY

Alexander M. Kamchatnov

Ph. D. (Philology), professor, head of Russian language and stylistics  
Department in Gorky Literary Institute  
alexmk52@gmail.com

The author studies the interpretations of the Greek word *σκάνδαλον* and its derivations in the different Russian versions of New Testament and analyses the consequences of rationalization of Holy Scripture’s symbolic language.

*Key words:* New Testament, interpretation, *σκάνδαλον*, temptation, image, symbol, concept.

---

**THEORY AND HISTORY OF LITERATURE**

ALFRED DE CUSTINE'S "RUSSIA IN 1839" AND VICTOR TISSOT'S  
"RUSSIA AND THE RUSSIANS: TRAVEL IMPRESSIONS" IN THE  
CONTEXT OF MYTHS AND STEREOTYPES ABOUT RUSSIAN HISTORY  
AND CULTURE

Boris N. Tarasov

Ph. D (Philology), professor, Head of the Foreign Literature Department in  
Gorky Literary Institute, Deputy Chair of the Writers' Union of Russia  
rektorat@litinstitut.ru

The article studies various aspects of cultural, historical and ideological  
preconception that influenced formation of stereotypes in perception of social and  
political life in the XIXth century Russia. The author analyzes two works by the  
XIXth French writers — A. de Custine and V. Tissot.

*Key words:* cultural stereotypes, image of Russia in the West, Russia and Europe

I AND WE CONFLICT IN E. ZAMIATIN AND V. NABOKOV'S WRITING  
Olga A. Kaznina

Ph. D. (Philology), leading expert of the Department of Contemporary Russian  
Literature and the Literature of Russian Abroad in the Institute of World  
Literature of the Russian Academy of Science  
olga-kaznina@yandex.ru

V. NABOKOV'S «SPEAK, MEMORY»: IMAGES OF THE PAST AS PART  
OF THE WRITER'S CREATIVE METHOD.

Alexandra L. Shapiro

Applicant for Candidate Degree in the Department of Foreign Literature in the  
Gorky Literary Institute  
alexandra.litvar@gmail.com

The article studies the role of memory as a key element of Nabokov's poetics  
(based on his autobiographical prose and analyzes Nabokov's "theory" of time  
and space.

*Key words:* Nabokov, time, space, memoires, artistic means.

FANTASY AND DESTINY IN PROSE OF A. CHEKHOV  
(«THREE YEARS» AND «THE MURDER»)

Alexander I. Parfenov

Postgraduate student in the Department of Classical Russian Literature and Slav  
Studies in the Gorky Literery Institute  
parfenovalexander@yandex.ru

The article analyzes the motives of fantasy and destiny in A. Chekhov's («Three  
years» and «The murder»). The author concentrates on the use omens and presages in  
Chekhov's stories in their relation to intellect and passion. Peculiarity of Chekhov's  
dialogue with romantic tradition and semantic-stylistic role of «irrational» motives  
in artistic structure of the whole are also traced.

*Key words:* A. P. Chekhov, «Three years», «The murder», romanticism, fantasy.

---

**SOCIAL SCIENCE****THE STATUS OF RELIGIOUS MINORITIES IN INDIA (THE CASE OF CHRISTIAN DALITS)**

Olga L. Solodkova

Candidate of History, Associate Professor, Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies, Department of Civilizational Development of the East

in the National Research University Higher School of Economics

olsolodkova@hotmail.com

The article is a case study of the ways in which are Christian Dalits discriminated against are very widespread and complex: discrimination by fellow Indians, discrimination by the state, discrimination in the Church Christian. Christian Dalits are not recognised by the government. Leaders of this Hindu-nationalist political party (Bharatiya Janata Party) and several related organizations regularly make statements against conversion to Christianity in this Hindu-majority country.

*Key words:* Christianity in India, Dalits, Ambedkar, violence towards Christian Dalits, caste. caste system, discrimination of the Christian Dalits

**CHRONICLE****MICHAIL LERMONTOV 200TH ANNIVERSARY CONFERENCE  
(21-22TH OCTOBER 2014)****BOOK REVIEWS****THE FIRST WORLD WAR AND THE DESTINY  
OF EUROPEAN CIVILIZATION**

/ ED. LEV S. BELOUSOV, ALEXANDER S. MANYKIN. MOSCOW,  
MOSCOW UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE, 2014

Olga V. Volosyuk

Ph. D (History), Professor, Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies, Department of Civilizational Development of the East in the

National Research University Higher School of Economics

olgavolosiuk@yahoo.com

## ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

### I. Оформление

Материалы должны содержать следующие обязательные элементы:

1. Сведения об авторе на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень; ученое звание; должность; полное название научного или учебного учреждения и его структурного подразделения (факультета, кафедры, отдела и т. д. ); контактная информация автора (электронная почта).

2. Аннотация и ключевые слова (keywords) на русском и английском языках.

Аннотация (объемом не более 10 строк) должна кратко излагать проблематику статьи и основные содержащиеся в ней выводы. Ключевые слова (не более 5) после аннотации отражают основное содержание текста.

3. Цитирование и ссылки на источники оформляются в соответствии с действующим ГОСТом (7. 5; 10).

В тексте в квадратных скобках указывается фамилия автора (ов), год издания и страница. Например: [Иванов, 1998, с. 125]. При повторном цитировании: [Там же, с. 128] для русскоязычных источников или [Ibid, p. 123] для иностранных источников.

4. Примечания оформляются в виде подстраничных сносок (в формате, предусмотренном действующим ГОСТом) .

5. Пристатейные библиографические списки (Список литературы) у всех статей в едином формате, установленном действующим ГОСТом.

Список литературы дается сразу после статьи — с нумерацией, в алфавитном порядке по фамилиям авторов. В список литературы вносятся материалы, на которые есть ссылка в тексте статьи.

6. Объем рукописи не должен превышать один печатный лист (40 тыс. знаков с пробелами).

7. Текст статьи должен создаваться в формате doc (docx), шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, с полуторным межстрочным интервалом.

## **II. Требования к содержанию:**

- 1) научная новизна проблемы и новаторство ее разработки;
- 2) научная добросовестность в изложении научных концепций;
- 3) указание на применяемые методики исследования;
- 4) точность в изложении фактов;
- 5) точность цитирования.

## **III. Порядок рецензирования материала (статьи)**

1. Рецензирование статьи производится в соответствии с требованиями, изложенными в пункте II .
2. При несоблюдении требований пункта II редакционный совет вправе отказать автору в публикации с предоставлением рецензии.
3. Члены редакционной коллегии знакомятся с оригиналом статьи и в случае необходимости вносят правку.

## **IV. Порядок рецензирования**

1. Автор обязан учесть замечания рецензентов и внести в статью соответствующие исправления. При наличии отрицательных рецензий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее доработанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.
2. Рецензия пишется в соответствии с требованиями пункта II. В конце рецензии указывается, соответствует ли рукопись предъявляемым требованиям и рекомендуется ли к публикации в «Вестнике Литературного института».
3. Редакция вправе отказать автору в публикации материала на основании негативной рецензии членов редколлегии и предоставить рецензию по запросу автора. В случае отклонения статьи редакция сохраняет у себя один экземпляр и направляет автору мотивированный отказ.

Вестник Литературного института имени А. М. Горького  
№ 4'2014

Учредитель и издатель  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Литературный институт имени А. М. Горького»  
123104, г. Москва, Тверской бульвар, 25

Издание зарегистрировано  
*Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-19959 от 29 апреля 2005 г.*

*Индекс по объединенному каталогу «Пресса России» — 20577*

Адрес редакции:  
123104, г. Москва, Тверской бульвар, 25  
Телефон редакции: (495) 694 06 61, 694 06 65  
Факс: (495) 694 06 61  
E-mail: vestlit@mail.ru

Подписано в печать 17.11.2014.

Цена договорная

Тираж 1000 экз.